

# НОВАЯ НЕМИГА

литературная

№5 (2017)

ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С 2007 ГОДА. С 1999 ПО 2006 ВЫХОДИЛ  
ПОД НАЗВАНИЕМ «НЕМИГА ЛИТЕРАТУРНАЯ»

*Учредитель и редакция журнала: ООО «Витпостер»*

*Главный редактор: АВРУТИН Анатолий Юрьевич*

*Редакционная коллегия:*

Анатолий АНДРЕЕВ, Глеб АРТХАНОВ, протоиерей Павел БОЯНКОВ,  
Алексей ВАРАКСИН, Иван ГОЛУБНИЧИЙ (Москва), Дмитрий ДАРИН,  
Светлана ЕВСЕЕВА, Николай КОНЯЕВ (Санкт-Петербург),  
Вячеслав ЛЮТЫЙ (Воронеж), Владимир МАКАРОВ, Глан ОНАНЯН  
(Москва), Виктор ПЕТРОВ (Ростов-на-Дону), Валентина ПОЛИКАНИНА,  
Елена ПОПОВА, Иван САБИЛО (Москва), Валерий СДОБНЯКОВ  
(Нижний Новгород), Владимир СКВОРЦОВ (Санкт-Петербург),  
Александр СОКОЛОВ, Сергей ТРАХИМЁНОК, Юрий ФАТНЕВ,  
Валерий ХАТЮШИН, Иван ЩЁЛОКОВ (Воронеж)

МИНСК

## СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ	ГЕННАДИЙ ИВАНОВ. <i>Миру чудному и воспетому. Стихи</i> ..... 3
ПРОЗА	МИХАИЛ ПОПОВ «Катти Сарк», несущая ветер. <i>Повесть-ретро. Окончание</i> ... 7
ПОЭЗИЯ	ВАЛЕРИЙ ХАТЮШИН. <i>Свет во тьме. Стихи</i> ..... 40
ПРОЗА	АЛЕКСЕЙ ФИЛИМОНОВ. <i>По чёрному льду. Стихи</i> ..... 44
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ	ИВАН САБИЛО. <i>Корифей и Бульдозер. Рассказ</i> ..... 47
ПРОЗА	ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО. <i>А бессмертия мне не надобно! Стихи</i> ... 54
ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ	АНАТОЛИЙ МАТВИЕНКО. <i>Ваенга-эйр. Повесть</i> ..... 58
НОВОЕ ИМЯ	ЕЛКА НЯГОЛОВА. <i>Невысказанное. Стихи. Пер. А. Аврутина</i> ..... 76
ПОЭЗИЯ	ЗАЛМАН ШМЕЙЛИН. <i>Душа на ветру. Стихи</i> ..... 79
НОВОЕ ИМЯ	ИРИНА ФОМИНА. <i>Да, так бывает. Лирические миниатюры</i> ..... 82
	ДИТА ДЕЖИНСКАЯ. <i>Я читаю тебя. Стихи</i> ..... 88
	АННА ТОКАРЕВА. <i>Туда, где тропки узки. Стихи</i> ..... 92
	ВАЛЕНТИНА ДРОБЫШЕВСКАЯ. <i>А значит, будем жить. Стихи</i> ..... 96
	МИХАИЛ МОКРЕЦОВ. <i>Одно крыло. Стихи</i> ..... 99
	АЛЕКСАНДР ГУЩИН. <i>Ангел мчится... Стихи</i> ..... 101
	ОКСАНА ВАЛУЙ. <i>Целуется осень с рассветом. Стихи</i> ..... 104
ИСТОРИЯ СЛОВЕСНОСТИ	МАРИЯ ЖИГАЛОВА. <i>Судьба и творчество польских поэтов Брестско-Подляского Пограничья: история и современность</i> ..... 106
КРИТИКА	ЛЮДМИЛА ВОРОБЬЕВА. <i>Стать Человеком. Размышления над книгой Виктора Чекирова «Военные повести и рассказы»</i> ..... 134
ВОСПОМИНАНИЯ	ЛЮБОВЬ ТУРБИНА. <i>Последний месяц с папой</i> ..... 142
ЧАСОВНЯ	Протоиерей ПАВЕЛ БОЯНКОВ <i>Претерпевший до конца</i> ..... 147

### Издание безгонорарное

Адрес редакции: 220112, г. Минск,  
пр. Газеты «Звезда» д. 67, ком. 99, тел. 280-50-60.

Для писем: 220005, г. Минск, ул. Гикало, 18-18.

E-mail: [aavrutin1@gmail.com](mailto:aavrutin1@gmail.com)

Стильредактор Г. В. Ширкина.

Журнал зарегистрирован в Министерстве информации РБ.  
Свидетельство о регистрации № 1348 от 30.04.2012.

Подписано в печать 10.10.2017. Формат 70x100/16.

Бумага офсетная. Усл. печ. л. 12,48. Уч.-изд. л. 9,75.

Тираж 1000 (1-й з-д 1-140) экз. Зак. № 364. Цена договорная.

Издатель ООО «ВИТпостер».

Свидетельство о государственной регистрации издателя,  
изготовителя, распространителя печатных изданий  
№1/98 от 02.12.2013.

Отпечатано в типографии ООО «Бизнесофсет».  
ЛП № 02330/70 от 17.06.2015.

Пр. Независимости, 95/3-7, 220043, г. Минск.  
Тел./факс: (017) 280 13 80 E-mail: [boprint@tut.by](mailto:boprint@tut.by)

© «Новая Немига литературная», №5, 2017

## Поэзия

---

### Геннадий ИВАНОВ

---



*Геннадий Викторович Иванов родился в 1950 году в городе Бежецке Тверской области. Детство начиналось в деревне, в начальную школу ходил в бывший барский дом из имения Слепнёво, где когда-то жили и творили Николай Гумилёв и Анна Ахматова. Потом семья переехала в город Кандакшу на Кольский полуостров – там жили в бараке на берегу Белого моря, там окончил школу, оттуда уходил в армию, в арктическое плавание, там работал в районной газете и начал писать стихи. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Автор десяти книг стихов. Написал три книги очерков о своей малой родине «Знаменитые и известные бежечане». Лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии Ф.И. Тютчева «Русский путь». Первый секретарь Правления Союза писателей России. Живёт в Москве.*

## Миру чудному и воспетому

\*\*\*

Много в мире всего симпатичного...  
Но потом понимаешь, в пути,  
что несёшь ты зерно горчичное –  
до конца бы его  
донести.

Миру чудному и воспетому  
надо должное отдавать,  
но вниманье особое  
к э т о м у  
поручению  
устремлять...

\*\*\*

Я не хочу принадлежать дорогам.  
Устал от многочисленных дорог.  
Они лежат, как змеи, за порогом.  
Я запер дверь, сижу, суров и строг.

Теперь и мне пора засесть за дело,  
по всем углам собрать черновики...  
Чтобы душа в предчувствии запела,  
ждала неупиваемой строки.

Блуждаю среди записей, заметок...  
И мне спешить не надо никуда.  
От мира мне в окне хватает веток.  
Мне не хватало воли и труда.

\* \* \*

Что такое стихи, забываю...  
А потом вспоминаю опять –  
и в каком-то краю пребываю,  
где отраднo душе пребывать.

А потом – и порою надолго –  
западаю в молчанье, как в сон...  
Этот край и не Крым, и не Волга...  
Но родной, словно родина, он!

\* \* \*

Почему-то тянет, тянет  
вдаль глядеть с откоса –  
здесь душе ответ приходит  
даже без вопроса...

Что метаться и тужить,  
если столько света!  
Надо верить, надо жить –  
это суть ответа.

\* \* \*

На пороге вечности, на севере,  
я стоял когда-то на скале.  
Было ощущение такое,  
что лечу у птицы на крыле.

И что эта птица – это вечность.  
Улечу неведомо куда.  
А в душе отвага и беспечность...  
Навсегда?  
Пусть будет навсегда!

\* \* \*

Никуда пробиваться не надо –  
то ли к истине, то ли к мечте...  
Полнота удивленья и лада –  
травы в поле,  
лучи в высоте!

Надо только вполне согласиться,  
что прекрасен дарованный миг.  
Что пройдёт он,  
а счастье продлится –  
в мире трав и людей, в мире книг...

\* \* \*

Да, другие времена.  
Не застоя-сонности.  
Как теперь живёт страна?  
Больше стало совести?

Меньше подлости вокруг?  
Вот они, критерии.  
...Всё иллюзии, мой друг.  
Всё, мой друг, мистерии.

\* \* \*

Русь, Россия, Советы – названья  
изменялись, менялись черты...  
Но всегда оставалось страданье.  
Открывай свою душу и ты.

Открывай – и тебе уже больно.  
Больно, больно. А ты потерпи.  
Это к Родине путь не окольный,  
а прямой – и его полюби.

\* \* \*

Словно горец на крыше сакли,  
на скворечнике мой скворец.  
Что-то думает: так, не так ли...  
А потом запел.  
Молодец!

И весь мир вокруг словно ожил  
и пролился на душу мою.  
Вот и я, что б ни думал, всё же  
оживаю – когда пою.

\* \* \*

Нужное не сложно.  
Сложное не нужно.  
Это непреложно.  
Это не натужно.

Бабочки летают.  
Цветики цветут.  
Люди умирают...  
А потом живут.

\* \* \*

Наши горькие слёзы и стоны  
небесам тоже душу рвут.  
Потому мироточат иконы  
и опять к покаянью зовут.

Люди помощи просят у Бога,  
но на службу в храм не идут.  
Потому и спасётся не много,  
хоть страдают многие тут.

\* \* \*

Лес без ветра шумит к дождю,  
без печали душа печалится...  
Я ещё умирать подожду,  
ещё радость во мне  
не кончается.

Вот опять прилетел скворец!  
Машет крылышками по-ангельски!  
...И поеду я наконец  
в этот год на берег  
архангельский!

Посмотрю, где жил Казаков,  
где рассказы писал чудесные!  
И поеду ещё во Псков –  
там как воины  
храмы местные.

Радость – родина, радость – свет!  
Радость – ближних родные лица!  
Не последняя песня, нет!  
В небесах не последняя птица!

\* \* \*

Икона неба не всегда лучиста,  
сегодня в тучах, словно в забытьи.  
Да и в душе сегодня как-то мглисто,  
и все молитвы спутались мои.

Да, надо жить, как все живут на свете,  
и, стиснув зубы, многое терпеть.  
Но трудно быть невдумчивым, как дети,  
по-детски плакать и по-детски петь...

\* \* \*

Чёрно-белая пашня предзимняя,  
Над землёю летает снежок.  
Будет много и снега, и инея,  
Будет белою горкой стожок.  
Будет всё, будет всё как положено.  
И морозные ночи, и лёд...  
Но душа будет не заморожена,  
И порой вдохновенье придёт.

Кто-то греться поедет в Италию,  
Будет там и творить и парить.  
Ну а мы будем дома и далее  
Тишину свою боготворить.

### ЗИМНЕЕ УТРО

Прекрасный розовый восток!  
А ночь была темна ужасно...  
Я жизнь читаю между строк,  
И между строк она прекрасна!  
И сами строки хороши.  
Мороз и солнце – лучше нету!  
Всё для души, всё для души...  
Всё в помощь русскому поэту!

\* \* \*

Вот хожу день за днём – ожидаю, естественно, чуда.  
Но оно не приходит, и это, естественно, худо.  
За строкою строка не летят мне навстречу как птицы.  
Значит, вновь надо ждать – и бродить по полям, и молиться.

Будут строки, я знаю, и будет мой дух наполняться.  
Надо жить и творить и греха празднословья бояться.  
Будут строки, я знаю, как будут и травы, и птицы,  
И людей моих близких такие родимые лица...

\* \* \*

Ну что, моя Февронья, мы уже  
С тобой выходим на большак с просёлка.  
Мы старости с тобой на рубеже.  
Вон старые стоят сосна и ёлка...

Но мы не знаем, как это у них,  
А у людей – мы это точно знаем...  
Такие думы – не у нас одних,  
Мы все, мы все живём и угасаем.

Дай Бог нам эту участь претерпеть,  
Дай Бог нам веры крепкой и участия...  
А мы с тобой, Февронья, будем петь,  
Идти и петь про неземное счастье.

\* \* \*

Родина моя заснежена.  
Словно бы она обласкана  
Белыми снегами нежными...  
А весной – другими красками!

Родина моя затеряна  
В наше время и заброшена...  
Но с полями и деревьями  
Родина моя хорошая.

Будет ли она украшена  
Снова избами да пашнями?  
Родина моя угашена  
Тёмными годами страшными.

\* \* \*

Нотные волны на берег судьбы набегают,  
Музыка, музыка что-то душе говорит...  
Много печалей, и дни наши тают и тают,  
Но впереди что-то светит, мерцает, горит.

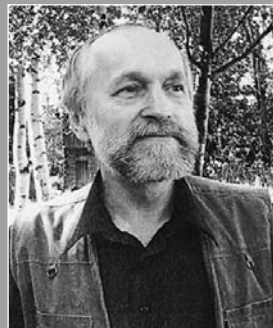
Что впереди – только музыка дивная знает.  
И говорит, говорит, навевает душе.  
А человек – понимает и не понимает,  
Но эту музыку он не отпустит уже.

Проза

---

*Михаил ПОПОВ*

---



## «КАТТИ САРК», НЕСУЩАЯ ВЕТЕР

ПОВЕСТЬ-ПЕТРО

2

2 января выпало на понедельник, однако день был нерабочий. Пакратов с сынишкой, взявшись за руки, отправились во Дворец пионеров. Ёлка там стояла та самая, которую, как писалось в газете, «учреждению для детей предоставило областное охотуправление».

Дворец сверкал. Народу в залах была тьма – больше, естественно, детворы. Бабушки, мамы и редкие папы кучковались по углам. Одни любовно, другие с родительской опаской, а третьи с явной скукой и послезастольной усталостью, они приглядывали за своими чадами.

Пакратов устроился в дальнем конце. Алёшка то устремлялся к ёлке, которую всякому встречному представлял как папину, то к райку, где выступал Петрушка, то к буфету, где давали лимонад и пирожные. Наконец, броуновское движение утомило его, он устроился у папы на коленях и стал наворачивать мороженое.

Вскоре раздался мелодичный звонок. Дед Мороз со Снегурочкой повели детвору в зрительный зал – там намечался концерт юных дарований. Взявшись за руки, отправились туда и Пакратовы. Сергей обычно усаживался с краю, чтобы при надобности беспрепятственно улизнуть, – это вошло в привычку ещё со студенческих времён. Но Алёшка потащил на самую середину, и Сергей поневоле уступил ему.

Начался концерт. Ребятишки пели, читали стихи, танцевали. Их обаятельная неуклюжесть вызывала умиление. Каждого участника встречали и провожали бурными овациями. Сергей аплодировал вместе со всеми. Однако неожиданно поймал себя на том, что следит не только за сценой. Его почему-то всё больше притягивало к залу – к этим притушенным полумраком рядам. Словно что-то

---

\* Окончание. Начало в №4, 2017 г.

коснулось сознания и обеспокоило. Не поворачивая головы, он переводил глаза с ряда на ряд, вглядываясь в промежутки между креслами. И когда после очередного номера включили люстры, наконец обнаружил...

Она сидела на первом ряду. Мог ли он обознаться? Наверное. Но его зрение в этот миг обрело вдруг такую пронзительную ясность, что он даже оторопел. Пучок каштановых волос, напоминающий тайфунчик, эта ушная раковинка, так незащищённо открытая пространству... Нет, ошибиться он не мог. Чтобы улучшить обзор, Сергей вытянул шею. Сзади донеслось недовольное шиканье. В этот миг тайфунчик сместился, и перед Пакратовым вдруг открылся профиль. Да, он не ошибся – это была Ламка. Сердце подпрыгнуло, он едва не последовал за ним. И тут же, самонадеянно решив, что растревожил её взглядом, втянул голову в плечи. Нет, она обернулась не на него. Предметом её внимания оказались бантики, что торчали над спинкой соседнего кресла. Кресло было бордовое, а бантики пёстрые. Они напоминали Филиного махаона. Сергей от удовольствия аж прищурился. Но тут с другого от махаона бока возникла помеха. Что такое? Сергей слегка сместился влево, отыскивая створ, и тут увидел, что над бантиками возник мужской профиль. Прямой нос, скобка русых усов, острые уши. Вот это, значит, и есть Евгений Юрьевич. У Пакратова хрустнули пальцы. Неприязнь возникла помимо воли. Не найдя ничего отталкивающего в облике, он переключился на позу. Ну конечно же! Сидит, развернув свою косую сажень, а того не соображает, что позади мостится щуплый паренёк. Вон как он отчаянно вытягивает шею, пытаясь что-то там разглядеть.

Негласные порицания прервали аплодисменты. Объявили следующий номер. И тут бантики вспорхнули. Девочка – её дочка – Сергей так и определил это для себя: «её», – пошла на сцену. Внимание Пакратова целиком переключилось на неё. Он следовал за нею взглядом, остерегаясь, чтобы – не дай Бог – она не споткнулась. Нет, не торопясь и глядя под ноги, она поднялась по ступенькам, вышла на сцену, неспешно подошла к пианино. Тёмный костюмчик с белой оторочкой, белые чулочки, наряд был выполнен со вкусом и изяществом. Пакратов прищурился, пытаясь получше её разглядеть. Черты лица издалека терялись, но пластика, но жесты были мамыны. Это от него не ускользнуло. Возле пианино Ламка-дочь остановилась, грациозно поклонилась залу, послав, как воздушный поцелуй, своего махаона, и устроилась на стульчике. Несколько секунд она была неподвижна, держа руки на коленях, потом вскинула их. Раздались первые аккорды, и полилась музыка. Пакратов не большой знаток фортепианного искусства, но этому исполнению поразился. Откуда в таком крохотном существе столько воли, столько энергии, столько ожидания и одновременно тревоги, столько какой-то недетской страсти? Глаза невольно метнулись к Ламке. Да как – откуда!

Музыка лилась, музыка трепетала, музыка пульсировала. А Сергей не отводил глаз от Ламкиного тайфуна, её ушной раковины и, сдаётся, сам был готов раствориться в этом потоке звуков и проникнуть, хотя бы на миг, в её распахнутую сейчас душу...

Тут опять возникла помеха. Над опустевшим креслом, откуда минуту назад вспорхнула бабочка, снова возникла гладковыбритая щека. Родителю не терпелось пошептать, дать оценку чаду или что-то там очень срочное, безотлагательное сообщить. Сергея охватила неприязнь, больше того – в нём стала закипать



злость. Но тут он усмотрел такое, отчего сердце его опять подпрыгнуло. Это был один жест – короткий плеск Ламкиной руки. Рука чуть вскинулась в ответ на до-куку – дескать, погоди, не мешай, дай же дослушать – и просительно замерла. Это был не просто жест, не просто просьба только минуточку помедлить. В этом всплеске угадывалась отстранённость и, может, даже – защита. Ага, оценил Сергей, меж ними кресло, пустое кресло, только девочка, что сейчас исполняет Шопена, связывает их, ничего более. Догадка его была, конечно, зыбкой. Он это со-знавал. Более того, испытывал неловкость перед девочкой, которой отвёл в своём заключении столь малую роль. Однако поделаться с собой ничего не мог. Ему хо-телось так думать, и ему надо было так думать – даже вопреки здравому смыслу и, может быть, совести. А потому, сделав важное для себя открытие, он посылал в эпицентр Ламкиного тайфунчика нежные флюиды. Достигали ли его посылы её души – кто знает, но однажды она коснулась мочки уха, как бы поправляя выбив-шуюся из тугого тайфунчика прядку.

Девочка отыграла эту. Поднялась с места, вновь изящно раскланялась. Она была постарше Алёшки, ей было лет девять. Так Пакратов определил, когда она спускалась со сцены. Возвращение её сопровождалось бурными овациями. Сергей хлопал в ладоши, наверное, громче всех. Но встречи её с родителями, заполнение отмеченной пустоты наблюдать не захотел. Он просто низко съехал на сиденье, чем вызвал одобрителный вздох за спиной, и весь остаток концерта просидел с закрытыми глазами.

Очередь в гардероб двигалась медленно. Алёшка, ровно застоявшийся жеребё-нок, бегал из конца в конец вестибюля, изводя нерастратченную энергию. А Пакра-тов переживал людское столпотворение, держась в тени колонны. Встречи с Лам-кой он здесь не искал, опасаясь расплескать то ощущение, которое угнездило-сь в душе. Однако чем меньше становилось в вестибюле народу, тем реальнее была её вероятность. Так оно и произошло.

Ламка стояла возле зеркала. Сначала Сергей увидел отражение, отстранённое от него, а потом и её. Больше того – их взгляды на миг пересеклись. Ему тогда по-казалось, что все её существо устремилось навстречу... После Сергей попытался унять, пригасить то ощущение. Он твердил себе, что это – зеркальный эффект, контраст между «нет» и «да», лицом и спиной, то есть плод его воображения. Но чем больше он так думал, тем сильнее упорствовало сердце. Да, он мог вообразить тот совершённый несовершенный порыв: в зеркалах – спиной, а в яви – вся на-встречу. Зеркала могли обмануть, зеркала могли слукавить. А глаза?!

\* \* \*

Праздники закончились. Но охотуправление продолжало жить в предново-годнем режиме, поскольку многие сотрудники ещё находились в отпусках, и Пакратова в эти дни никто не тревожил. Четвертого января Сергей позвонил в редакцию. Ламки на месте не оказалось – она уехала в командировку, причём в самый дальний район. Над краем как раз начал разворачиваться циклон. Сперва потянула позёмка, потом густо повалил снег, а через час разыгралась нешуточ-ная метель. Улететь успела, а как обратно? Погода складывалась явно нелётная. Застрянет там, чего доброго. Нежность Сергея мешалась с тревогой. Надо было что-то предпринимать. Решимости добавила синичка, которая в поисках укрытия

пристроилась на полуоткрытой форточке. Даже хвостиком бедолага не трусила. Тогда Сергей с ходу поднял трубку и набрал номер. Связь, по счастью, была. Начальник районной охотоинспекции оказался на месте. Объяснение заняло не больше минуты. Просьба заключалась в следующем: необходимо разыскать сотрудницу молодёжной газеты, взять её под опеку и оказывать всяческую помощь и содействие. «Бу сделано, Сергей Фёдорович!» – донеслось с другого конца. Положив трубку, Сергей подмигнул синичке. В эффективности звонка он почти не сомневался: просьба вышестоящей инстанции – закон для нижестоящей. А что касается угрызений совести, дескать, использует служебное положение в личных целях, то этого у него и в мыслях не было. Какие же они личные, коли речь идет о представителе общественно-массовой газеты?!

В те дни Сергей думал о Ламке непрестанно. Мысленно обращаясь к ней, придумывал всякие монологи, в которых представал значительным, умным и великодушным. Не все из этих спичей получались, однако иные ему нравились, и он прятал их до лучших времен в свои записные запасники.

Толчком для этих литературных упражнений послужила та злополучная байка, которую Пакратов никак не мог завершить. Если бы речь шла о радио, он, возможно, так не маялся и давно бы разрешился от этого бремени: немного музыки, голос хорошего диктора – там любая душещипательная историйка превращается в конфетку. Но на сей раз ему предложили подготовить что-нибудь для областной партийной газеты. Немного помешкав, Пакратов решил переадресовать наполовину слепленную байку туда. Вот это-то и сыграло с ним злую шутку. Осознав иную степень ответственности, он зажался, скукожился и часами не мог выдавить из себя ни одного путного слова.

Домой в тот день Сергей возвращался пешком. Дорога шла вдоль набережной. Метель пригасла, но небо было пасмурно, только далеко-далеко, в той стороне, куда улетела Ламка, мерцала тонюсенькая полоска заката.

В свете одинокого фонаря носилась стайка школяров. Захмелевшие от каникул, они без устали гоняли футбольный мяч. Чуть в стороне, сидя на спинках скамеек, полизывали мороженое их девчонки. От компании исходил пар, дух безмятежности и вольницы. Но Пакратов им не завидовал.

\* \* \*

Редакции партийной и комсомольской газет располагались в одном здании. Их разделял просторный вестибюль, в одном углу которого находился гардероб, а в другом стоял большой бильярдный стол. Сдав наконец злополучную байку, Сергей остановился возле этого стола. Грех было не сыграть партийку, коли выпадала возможность. Но главное, что его придерживало здесь, – Ламка. Он уже знал, что она вернулась, и втайне надеялся её встретить.

Игра на бильярде увлекла Сергея. Он даже забылся, упоённо закладывая шары то в одну, то в другую лузы. Честь «стрелковой» фирмы он в этих поединках не посрамил, одолев одного за другим нескольких противников. Началась новая партия. Она также складывалась в его пользу. Он нацелил кий для очередного удара. Но тут в поле зрения кто-то возник. Прежде чем заложить шар, Сергей смигнул и на сей раз... промахнулся. Потому что боковым зрением увидел Ламку. Его с нею разделяло зелёное поле стола. Сергей чуть подосадовал, что промах-

нулся – это произошло по инерции, – одновременно улыбнулся и, видя, что опять наступил его черёд, показал пятерню, дескать, всего пять минут. Ламка понимающе кивнула. А он вдруг с чего-то запижонил, стал крутить, финтить, закладывать «карамболи» и в итоге партию, которая складывалась в его пользу, с треском проиграл.

– Это из-за меня? – чуть сокрушённо осведомилась Ламка, когда он отошёл от стола.

Сергей ещё весь был в азарте игры.

– Пустяки, – отмахнулся он. – Лучше скажите, как у вас? Где пропадали? Не зазябли там? Я несколько раз звонил. В редакцию. Никто толком ничего не сказал...

– Звонили?.. – улыбнулась она, глянула на его унты. – Но не только, видать, в редакцию?..

Он скромно промолчал, неопределенно пожав плечами. Она, однако, не оставила тему.

– Это ведь с вашей подачи меня там опекали? На «Буране» домчали, а потом ещё на «козлик»...

– Помогать хорошему человеку – наш долг, – велеречиво брякнул Пакратов.

– Спасибо, – задушевно отозвалась она и тронула его за локоть. – Хотите чаю?

Сколько раз он представлял себе подобную минуту, репетировал возможные мизансцены, её вопросы и свои ответы, а дошло до дела – вдруг смешался, заробел, точно малец, слова нужного не мог найти, только и хватило, что молча кивнуть да по-дурацки приложить руку к сердцу. Но отчего? Что произошло? Куда делись уверенность и напор? Что околдовало, сделало его едва не истуканом с острова Пасхи? Глаза её влажные? Запах тонких колдовских духов? Или её рука, которая вдруг переплелась с его рукой? Он шёл покорно, как бычок на коротком поводке. Чем больше он Ламку узнавал, тем больше она казалась недоступной.

Пройдя по просторному коридору в самый конец, они оказались в небольшом кабинетике.

– Вот здесь я обитаю, – повела рукой хозяйка. – Это мой стол, – она кивнула в правый угол, – а здесь, – она показала на противоположный стол, – сидит моя коллега.

Видимо, эта отсутствующая сейчас коллега и сокрушила его перед праздниками. Сергей слегка неприязненно посмотрел на её место, но, заметив между столами стул, живо устремился туда. Он казался себе неуклюжим, неловким, и ему сейчас нестерпимо хотелось как-то спрятаться и даже уменьшиться в размерах, до того не удавалось никак прийти в себя. Ламка, видимо, догадалась о его состоянии. Она подошла к тумбочке, на которой сверкал графин с водой, и принялась, как ему показалось, нарочито громко звякать посудой. Она стояла к нему в профиль. Чёрные сапожки на высоком каблуке, серая ниже колен юбка, серый толстой вязки длинный жилет и чёрная водолазка – всё на ней сидело ладно, делая её фигурку стройной и изящной. Как было не залюбоваться, не скользнуть глазом по всем скрытым или подчеркнутым линиям! Тут она покосилась, перехватила его взгляд и ободряюще улыбнулась. Он, застигнутый врасплох, смутился, поспешно отвел глаза, стал с деланным интересом осматривать кабинетик. Стены были пустые и голые. Наконец его осенило перевести глаза на её стол. Под куском

плексигласа угадывался портрет дочки – он догадался об этом, потому что разглядел пианино.

– Как её зовут? – спросил Сергей.

Ламка перехватила его взгляд.

– Ксюша.

– А мой малый ничем пока...

Она поняла.

– Ничего. Наверстает. Какие его годы! И потом – замечено ведь – мальчишки медленнее развиваются.

Одна из фраз ошеломила его: «Какие его годы!» Выходит, там, во Дворце, она видела Алёшку. «Значит, после того как наши с нею взгляды на мгновение встретились – а это было без Алёшки, он где-то носился, – она утайкой, мимоходом продолжала наблюдать за мной. Значит, искала, находила, снова теряла и опять отыскивала меня».

Представив вновь – уже со стороны – ту их мимолётную встречу, Сергей ободрился. Скванность и неловкость стали потихоньку проходить. Он даже не потерял нить разговора.

– Может быть, – согласился он с её суждением об Алёшке. – Хотя я в его годы уже по компасу умел ориентироваться.

Ламка на эту реплику слегка улыбнулась. Сергей понял, почему она улыбнулась, а поняв, опять стушевался. Однако она не позволила распалиться его разрушительному воображению.

– Все индивидуально, – отозвалась она. – Я в детстве мечтала стать врачом, а теперь вот... – и показала на пишущую машинку.

– И давно? – уточнил Сергей.

– Уже восемь лет, – она поставила на стол две дымящиеся чашки. – С перерывом, правда...

– И?

– Думаю, моё... Новые места, новые люди. – Она села за стол, включила большую настольную лампу. – Это, наверно, от мамы. В юности она геологом была... А дед мой был моряком. Он из греков... Вот и я люблю странствовать... Отпишусь за командировку и снова в дорогу...

– О «Буране» похлопотать? – отхлёбывая чай, осведомился Сергей.

– Только в кавычках...

Он кивнул:

– Конечно, в кавычках. Над тем, что без кавычек, я не властен.

От него не ускользнул её взгляд: дескать, как знать?! Свет большой зелёной лампы – изделия пятидесятих годов – придавал взгляду магическую силу. На Сергея ещё никто так не смотрел. Он терялся и одновременно – надо же! – разбухал в собственных глазах. Вспомнил концертный зал, свои настойчиво посылаемые в эпицентр Ламкиного тайфунца флюиды. А что? Может, и впрямь она не случайно касалась тогда завитка?

Прихлёбывая чай, Сергей украдкой любовался мочками Ламкиных ушей, приметил родинку на шее, укрывшуюся в тенёчке. Почему-то казалось, что это только верхняя часть созвездия, что там, в потае, за воротом свитерка, есть и другие. А ещё его глаза беспрестанно отыскивали Ламкины губы. Эти губы, казалось,

жили сами по себе и порхали в воздухе, то удаляясь, то приближаясь, как дивные бабочки. Но всего загадочнее выглядели Ламкины глаза. Карие, большие, подсвеченные изумрудом лампы, они были одновременно беззащитны и безоглядны. Как это могло существовать одновременно – он не знал, но именно так оно и было.

К концу чаепития Сергей отметил, что на щеках Ламки замглился румянец. Сергею нестерпимо захотелось коснуться его. Он с трудом сдерживался, чтобы не протянуть руку. Ламка, видимо, почувствовала это и попыталась увести его внимание в сторону – она заговорила о виде из окна, о предстоящей командировке, ещё о чём-то...

И тут произошло нечто странное. Ни с того ни с сего стала мигать настольная лампа – это основательное изделие середины века. Касаться лампы они не пытались. Кипятильник из розетки был выдернут. То есть видимых помех как будто не существовало. К тому же верхний свет горел ровно, без сбоев, а значит, напряжение в электрической сети было стабильным. Однако лампа не успокаивалась. Она мигала, пульсировала, потрескивала. Поначалу они не обращали на неё внимания, ведя неспешную беседу. Но лампа вела себя всё беспокойнее. Особенно явственно проявлялось её беспокойство, когда они умолкали. А когда возникла особенно яркая вспышка, они одновременно посмотрели на лампу, потом перевели глаза друг на друга, и Сергей – от греха подальше – её выключил.

\* \* \*

Байка Пакратова была напечатана с ходу, в считанные дни. Однако отнюдь не потому, что произвела в редакции сильное впечатление. Объяснение оказалось самое прозаическое. После рождественских и прочих каникул редакционный портфель опустел. Вдобавок по каким-то причинам «слетела полоса», как ему объяснили в отделе. График поломался, образовавшуюся брешь надо было чем-то заполнять. Вот и заткнули первыми же оказавшимися под рукой текстами.

Слышать такое было неприятно. Однако не это, разумеется, обескуражило Сергея. И не потому за объяснениями он обратился в редакцию. Убрали концовку. История с гуменником, которого приютили дети, благополучно закончиться не могла. Пакратов как спец обязан был объяснить, что звери и птицы, оказавшиеся в неволе, теряют навыки, что нельзя их одомашнивать, а потом выпускать в дикую природу. Но этот абзац, завершавший историю, в редакции взяли да и выкинули. «Хвост вылез», – коротко бросил секретарь.

От всего этого, а ещё потому, что Сергей остро осознал всю слабость своего опуса, ему сделалось горько и досадно. На службу он пришёл в раздражённом состоянии. А тут ещё Филин подвернулся:

– Всю свою печаль он вложил в светлый образ гуся лапчатого...

Сергею бы на эту язву отшутиться, в крайнем случае смолчать, а он ни с того ни с сего вдруг взвился.

– А чего ты знаешь про меня! – Сергей схватил Филю за грудки. – Чего ты знаешь! Когда я убил первого косача, я ревел. Понимаешь, ревел!.. Потому что мальцом был, ребёнком...

Филя – редкий случай – не перечил. Он поправил съехавшие очки, неожиданно мягко приобнял Сергея и молча повёл в боковушку. Там он снял с Пакратова полушубок, ушанку, выдернул из-за стола стул, посадил его, а сам сел напротив.

– Ну, чего ты, Серенький?! Ёшкарне...

Пакратов малость поостыл, опустил голову. И так, сидя с упёртыми в пол глазами и безвольно повисшими руками, выложил всё.

– Сначала-то я ликовал. Орал во всё горло, когда сшиб того косача... Как первобытный... Представляешь... Мне тринадцать лет. Батяка впервые взял меня на охоту, дал в руки одностволку. Сижу под берёзой, на ней чучелка. Вокруг снег, тишина. Десять минут, двадцать. Зябко. Начинаю коченеть. Мороз градусов двадцать. Уже зубами постукиваю. И вдруг – фр-р! – на мою березу садится матёрая птица. Сердце прыгает. Я вскидываю ружьё и с ходу – бах-х! Приклад в скулу, по носу. С берёзы – валом снег. Ничего не вижу. Уши от грохота заложило. И тут у ног – бух! – точно взрыв. Я ещё вверх плясую. Сквозь порошу вижу, как кружится перо. Медленно так парит, вокруг оси вращается. Я ору, всё ещё ору. Что-то ликующее, победное. И боюсь опустить голову. Потому что кровь прёт из разбитого носа. И потому что боюсь увидеть... Потом всё же наклоняюсь и вижу: матёрый косачина с переломанными крыльями лежит у моих ног. Я уже не ору, я что-то выстанываю. Из носа – сопли, кровавая юшка. Моя кровь мешается с косачиной, которой обгарён снег. Ноги подламываются. И слёзы...

Сергей осекся, горло перехватило. Ему с трудом удалось подавить спазм.

– Был я мальчик, дитя, а...

Филя взял его свисавшую с колена руку, зажал меж своих ладоней.

– Мальчик-с-пальчик, – каким-то чужим голосом обронил он, потом потрепал Сергея по плечу и, ничего более не сказав, вышел.

\* \* \*

Газету со злополучной публикацией Пакратов засунул меж конторских книг и папок, которые лежали на кромке стола. Ламка, к счастью, была в командировке. На сей раз – к счастью. Может, она и не увидит этого номера.

День был пятница, к тому же тринадцатое число. Но Сергей не утерпел и позвонил. На сей раз Ламка выезжала в ближние места и должна была обернуться за день. Так оно и вышло. Она оказалась на месте. Сердце Сергея прыгнуло выше потолка, когда он услышал её голос.

– С приездом, – сказал он. – Как командировка? Ламке студёно в северных краях?

Говорить в третьем лице было удобно – дистанция между «вы» и «ты» словно сокращалась.

– Ничего, – отозвалась она, голос был приветливый, ласковый. – Повсюду согревала незримая забота. – Это было добавлено с лёгкой иронией, но не обидно, а наоборот – хорошо. Сергей аж вытянулся в ожидании.

– А как же обещанный визит? Секач замер по стойке смирно, взяв клыки на караул.

Она приглушённо и, как ему показалось, задушенно засмеялась.

– Секачу привет! – отозвалась она. – Загляну в субботу. – Тут же уточнила: – Если можно. – И еще уточнила: – С двумя кассетами.

– В десять, – уточнил в свою очередь Сергей. Дыхалки хватило только на это. Сердце бухало, задыхаясь без воздуха.

– В десять, – донеслось эхом, и он обессиленно опустил трубку.

\* \* \*

Вход на второй этаж был расположен с торца. Сергей взял на вахте ключ, обошёл здание со двора и поднялся наверх. В тишине и безлюдье коридора шаги раздавались гулко и тревожно. Ещё тревожней и чаще билась в висках кровь. Ключ от кабинетной анфилады «охотнорядцы» держали в ящике пожарного гидранта, что был приколотен подле дверей. Ну, а ключик от его кабинетика висел вместе с домашними ключами на брелоке.

До оговоренного часа оставалась ещё уйма времени. Сергей оглядел кабинет, кое-что прибрал на полках и стеллажах, потом занялся столом. Убрал лишние папки, протёр влажной тряпочкой полированную столешницу, поправил письменный прибор, изображающий охотников на привале, раскрутил провод телефона... Газету со своей публикацией положил зачем-то сверху, потом всё же придавил её папкой, но при этом на треть вытащил.

Ламка появилась неслышно. Сергей даже слегка вздрогнул, увидев её в дверях.

– Копытца у ламок совсем невесомые, – заключил он, устремляясь навстречу. Она улыбнулась, поздоровалась, расстегнув дублёночку, повела плечиком, собираясь скинуть. Он готовно протянул руки.

– Ламки легки на подъём, – согласилась она. Сказала просто, без кокетства и, высвободившись из рукавов, повернулась к Сергею. На ней были белый свитер и джинсы. – А сохатые как? – Она тронула чучело лося, что недавно привезли на реставрацию.

Сергею нравилось, что при виде этих бывших животных, от коих осталась одна телесная оболочка, она ведёт себя естественно и непринуждённо, что не демонстрирует неуместно-запоздалой жалости или сожаления. Ни тени ханжества не мелькало в её жестах и словах. Этим она походила на Алёшку, который очень любил здесь играть.

– Сохатые! – Сергей коснулся полинялого в музейной сутолоке лосиного бока. Нечто подобное, по другой, правда, причине, происходило на его маковке. – Сохатые в полёте усыхают, – брякнул он. – Совсем обтерхался, бедолага.

– Неправда, – возразила она. – Он еще вполне. – Она с улыбкой коснулась кожаных губ и чуть рискованно-отстраненно добавила: – Моей ламке он глянулся бы...

Сергей кинул быстрый взгляд. Она в ответ не повела и глазом, словно ничего более и не подразумевала. А может, и впрямь ничего не подразумевала?..

Сергей вернулся к столу, откупорил бутылочку «Каберне». Наполненные рубиновым светом тонкие стаканы поднёс гостье. В её руке вино словно ожило, заиграло, бросая сполохи на лицо. Это напоминало ту ошалевшую настольную лампу. Сергей был не в силах оторвать глаз и утайкой или прямо всё ловил и ловил, как порхают, словно сами по себе, её безмолвные, но такие трепетные губы.

Ламка обошла «охотнорядские» кабинеты, легко касаясь чучел, постучала по сейфу-шкафу, где хранилось оружие, мельком пробежала глазами схемы и таблицы. Чуть дольше она задержалась у плаката с изображением лаек, выхватив пояснительный термин «вязкий в работе». Как мог, он это объяснил, избегая определений «кобель и сука». И тут опять смешался. Что вызвало это состояние, кто знает – то ли вынужденная неестественность в терминологии, то ли микрофон

Ламкин, который она, задавая вопросы, время от времени подносила, то ли вообще её близость, – но Сергей смешался, стал отвечать невпопад, путаться. Она, видимо, отметила это, потому что обернулась и, ему показалось, чуть победительно, словно что-то доказывая, улыбнулась.

И тут до него дошло. Она же была сейчас в гостях. Причём не совсем по делу или даже совсем не по делу, хотя они и условливались о деле. Потому-то и вела себя иначе, чем у себя. Там, у себя, в редакции, она была мягкая, естественная, а здесь и сейчас напряглась, хоть и виду не подавала, говорила чуть резче, отрывистей.

От этой догадки Пакратов воспрянул, скованность его ослабла, он плеснул в оба стакана вина и, уже не остерегаясь что-либо сделать или сказать не так, стал плавно виться вокруг неё, сам всё показывать и рассказывать. Глаза его при этом не упускали ничего – ни жеста, ни взгляда, ни поворота головы, ни линии туго облегающих джинсов, ни белого толстой вязки свитера, под которым явственно улавливалось трепетание. Это напоминало всполохи куропаток под снегом. Белый снег и белые куропатки. Он так прямо и сказал, упёршись глазами:

– Как куропатки под снегом...

Она на миг вспыхнула, смешалась. Однако тут же нашлась:

– Хороший образ. Это что, домашняя заготовка? Очевидно, для будущего анималистического очерка? Впечатляет. А вот с этим, – они как раз возвратились к столу, и она коснулась края газеты. – С этим спешить, по-моему, не следовало... Про животных, про гуменика – это хорошо. А детская психология, мне кажется, не выверена. Дети проще и в то же время мудрее нас. Так ведь?!

Пакратов напрягся, похолодел. Но эта последняя фраза – полувопросительная, полуутвердительная – разоружила его. Он почти виновато пожал плечами. И вдруг ни с того ни с сего снова вспомнил свою первую охоту – всё то, о чём рассказывал уже Филе... Распластанный глухарь на искристом снегу. Его конвульсии, эти последние трепеты. И кровь на белом – рассыпанные бусины, словно брусника в сахарной пудре. И собственная кровь, капли её, дробящие те настывающие уже бусины. И боль, и смятение. И радость, и вина... И слёзы...

Сергей говорил о том же и почти теми же словами, что и Филе. Но получалось это как-то иначе. Перед Филей он будто оправдывался. А теперь словно объяснял. Да нет, не объяснял – что-то нашупывал. Что-то важное и значительное. Причём не только для себя...

Сергей не сразу осознал, для чего говорит, для чего повторяет ту давнюю историю. А Ламка – и подавно. Зато она почувствовала. Она не столько поняла это, сколько почувствовала. Протянув руку, Ламка потрепала Сергея по шевелюре, коснулась наметившейся тонзурки. Последнего он вынести не мог, но чтобы не показывать истинную причину, мягко ускользнул, рассчитывая приблизиться к её губам. Но тут в свою очередь ускользнула она, повернувшись к нему спиной. Запах волос, аромат тонких духов, едва уловимый запах кожи... Щека его коснулась раковинки её уха. До чего же нежной оказалась мочка. Мягче, чем он предполагал, когда касался её взглядом. Хотелось чувствовать эту нежность и длить и длить, только бы не было протеста. Щекой он воспринял чуть уловимый отзыв и тихо-тихо, чтобы не спугнуть, соприкоснулся своим ухом с её раковинкой.

– Ау, – одними губами выдохнул он. – Я слышу море.



Она поняла.

– Какое? – шёпотом отозвалась она. До него донесся глубинный шелест.

– Тёплое... Оно тихо накатывает на берег. Хотя...

– И я, – быстро отозвалась она, – и я слышу море... Оно северное. Но оно неспокойное. Оно бурлит...

– Это сулои. Так называются встречные течения. Они обрушиваются друг на друга и плещут, создавая сумятицу.

– Опасное природное явление?

– Для водоплавающих – для моржей, для тюленей... Но только... не для ламок.

Она не отозвалась на этот поворот, потому что отозвалась на руки, которые он тихо опустил на её плечи.

– Отчего, – она чуть помедлила, – отчего эти противоречивые течения? Эта сумятица?

– От природы, – виновато улыбнулся он. – От конфигурации берега, от рельефа дна, от ветров, от магнитных явлений... Да мало ли...

Он мягко уходил от ответа, но она и не настаивала. Тем более что его руки тоже требовали внимания. Плечи её напряглись, когда ладони его потекли вниз. Ауканье двух раковин прервалось, потому что на переговоры устремились его губы. Именно губами можно было до конца понять всю нестерпимую нежность её мочки. Вот туда, в эту мочку, которая так естественно рифмовалась с зацветающей почкой, он и вышептал всё.

– А и впрямь белые... – оценил он то, что в этот миг постиг руками. Он не лукавил. Глаза его сделались незрячи, зато невероятно пронизательными стали пальцы.

Более Ламка не сдерживалась. Не оборачиваясь, она обхватила голову его обеими руками и стала ворошить волосы, касалась затылка, шеи, его пылающих ушей. Её ладная крепенькая фигурка прижималась к нему, точно Катти Сарк – к форштевню корабля. Лицо её, разгорающееся самозабвенным огнём, подобно лику Катти Сарк, было готовно обращено в неизвестность. Но в отличие от своей рукотворной сестры Ламка была из плоти и крови, живой, трепетной и манящей. Теряя рассудок, Сергей подхватил её на руки. Краем сознания попытался вспомнить, запер ли на ключ двери, однако рассудка хватило лишь на то, чтобы унести её на диван.

\* \* \*

Тот диван, чудом сохранившийся от гласных городской думы, дождался Сергея и Ламку почти сто лет.

– У него есть название? – осведомилась Ламка, когда они немного пришли в себя. Сергей пожал плечами, благо разумно не помянув Филину ересь про мавзолей. По аналогии вспомнилась пирамида, всплыли имена Тутанхамона и Нефертити. Но от упоминания их он тоже воздержался, справедливо заключив, что у пирамиды и мавзолея одна суть.

– Ковчег, – вскинулась Ламка. – Тогда Ковчег! – Волосы её были распущены. Она казалась чуть иной и от этого ещё более желанной. А созвездие родинок на груди, которые он, как звездочёт, сперва вычислил, а теперь открыл, представлялось ни больше ни меньше как его частной собственностью.

Свои лингвистические поиски они продолжили через некоторое время, когда вновь перевели дух.

– Кругом звери, птицы, – повела Ламка утомленно полуоткрытыми глазами. – Пусть это будет земляничная поляна.

– Это не звери-птицы, – сморённо возразил он. – Это застывшие сфинксы. Это химеры на соборе...

– Нотр-дам де Пари? – уточнила она.

– Ага, – кивнул он, – а я среди них... Квазимодо. – При этом приподнялся на локте и сморщил устрашающе-ужасную гримасу.

Ламка приняла эту игру, но озвучила её по-своему. Она молитвенно сложила ладони и пролепетала:

– О, неправда, возлюбленный мой! Ты прекрасен, возлюбленный мой! Твои уста, как сахарный мед, твои руки, как виноградная лоза, твои ноги...

– Как слоновьи столбы, – не выдержав, прыснул он. Бедный Соломон, знал бы он, как безродный прощельга глумится над его царственным образом! Но что поделать, если на прощельгу напал смех и вся его сущность ликует и радуется. Ламка тоже с трудом сдерживалась, чтобы не расхохотаться, однако образа бедной девушки из виноградника не покидала.

– О неправда, царь утех моих! Ты прекрасен, возлюбленный мой! Утверждаю это вновь и вновь, хоть и пересохла уста мои...

– Ром? Эль? Малага? – живо осведомился Сергей. Это было из другой оперы. Но Ламка не стала редактировать его чушь, а просто довела до конца свою партию:

– Утолите мою жажду вином, освежите меня виноградными струями...

Он вскочил с дивана, в три прыжка сбежал за стаканами и, почти не прикрываясь – да и чем? – полетел обратно. Ламка, сложив трубочкой пальцы, изображала не то пирата, не то адмирала Нельсона, прильнувшего к подзорной трубе. В горле её закипал смех. Вино, которое он подал, она, разумеется, разлила. Причем частично на диван, частично на его чресла, частично на пол.

– Баб-эль-Мандебский разлив, – по слогам произнёс он. – То бишь пролив.

Она прыснула и хлопнула по дивану:

– А это тогда – необитаемый остров.

– А мы разве не обитатели? – по-гуземному выпучил глаза Сергей.

– Тогда обитаемый... под названием...

– Ну-ка?.. Ну-ка?..

– Остров Краснобрового глухаря, – Ламка лукаво повела глазами.

– Тогда уж лучше так – остров Тетеревиных гуляний.

– Те-те-те... – подхватила она и кончиками пальцев пробежала по его груди.

– Ой! – съежился он. – Это уже остров Щекотан.

Так, касаясь друг друга, они перебрали едва не всю географию, перемешивая её с основами дарвинизма, истории, лингвистики... пока опять не вернулись к началам. А в началах не было ничего – ни географии, ни лингвистики, ни тем более дарвинизма. А были одни только Адам и Ева.

– Я твоя Катти Сарк, – выдыхала опалёнными губами Ламка, на миг прерывая бесконечно-томительный поцелуй. Катти Сарк – это короткая рубашка. На Ламке

ничего не было – ни короткого, ни длинного. Но он не возражал, он только уточнял:

– Ты моя Катти Сарк по прозвищу Ламка.

... В конце концов они вспомнили и о гласных – представителях допотопной городской думы.

– Перебирая согласные, они наконец вспомнили и о гласных, – сказала Ламка.

Под согласными она, оказывается, подразумевала те стенания и междометия, которые вырывались из их уст, когда они теряли голову. А о гласных, само собой, напомнил диван. Временами безмолвный, затаённо напряжённый, он внезапно оживал и начинал судачить, роптать, возмущаться, тараторить и ликовать. Диван то рокотал какой-то одной пружинкой, словно она была ребром некоего средневекового органа, то как-то беззубо шепелявил, то словно хрустел подагрическими пальцами. И Сергей с Ламкой заключили, что гласные ведут очередные дебаты. О чем? Да мало ли городских дел? – об акцизах, о пожарной конке, о горводопроводе...

– Есть корабли-призраки, – заключила, наконец, Ламка. – Пусть будут призраки на корабле.

– То бишь Ковчеге, – поправил Сергей.

\* \* \*

Тот диван был и Ковчегом, и островом, и их главной гаванью, и ковром-самолётом – чем он только ни становился по мановению Ламкиной руки! Она была невероятная выдумщица. Ребячество, шаловливость в ней выплескивались через край. Сергей просто диву давался и сам упоённо вовлекался в этот головокружительный водоворот.

Они бывали и в других местах, хотя зимой и трудно сыскать уголок для свидания, это не лето, когда мать-природа милостиво расстилает зелёные ковры. Иногда выручал Филин. Один раз они сошли с ума на Ламкиной службе. Но чаще встречались здесь – среди летаргически спящей фауны. В пятницу, а то, не вытерпев, и в четверг Пакратов снимал трубку:

– Наши гласные заскучали.

– Они голосовали? – уточняла Ламка.

– Да, – убедительно рычал он. – И голосовали единогласно. Не просто голосовали – голосили. Голосили, аки оглашенные.

– Придётся подчиниться гласу вопиющих, – подхватывала она.

С некоторых пор Сергей завёл на службе одеяло и простыни. Хорошо, что это не армия и старшина не делает шмона. Прячась под простынями, они заговорщицки обсуждали своих соседей – привидения думских гласных.

– Мы в белом, и они в белом, – шептал Сергей.

– Думаешь, принимают за своих? – уточняла Ламка.

– Не знаю. Но сидят тихо. Только чуть шуршат...

– Губернские ведомости листают.

– За какой год?

– За тысяча девятьсот шестой.

– А может, пёрышком скрипят?

– Жалобы строчат?

– Ага. На отсутствие надлежащих условий.

– А зачем же тогда голосовали? – резонно спрашивала Ламка.

Однажды она заявила, что этот диван надо умыкнуть. Не выкупить – так умыкнуть.

– А где будут обитать чиновные души? – Сергей зашушукал, изображая привидения. – У них подагра, ноги не держат.

– Сядут на сохатого, – показала Ламка на лося. – А чтобы не упасть, ухватятся за рога.

– Там уже есть кое-кто, – неуклюже съязвил Сергей.

Ламка поняла, по лицу её пробежала тень.

– Не будем, ладно? – увела она от скользкого поворота.

Что касается своей половины, Сергей не страдал от угрызения совести, однако продолжать не стал, а предложил для гласных лосиное нутро.

– Тепло, сухо. Опять же образ почти классический. Троянский лось...

Тема животных постоянно возникала в этих разговорах. То ли потому, что любовников окружали их образы. То ли они намеренно уходили от других тем, которые неизменно приводят к прозе реалий. То ли настрой был такой и не хотелось ничего и никого впускать в этот мирок, который они, как две пичуги, слепили из подручного материала: собственных пёрышек, тонюсеньких соломинок – последней надежды утопающих, чего-то хрупкого, невесомого... Подует сквозняк, обрушится студёный ветер – все хрустнет и разлетится. А пока – вот оно...

На ум приходили несусветные фантазии. Сергей болтал напропалую, не боясь выглядеть смешным, глупым, нелепым. Ламка принимала его таким, каким он был, и Сергей давно не чувствовал себя столь лёгким, ликующим и безалаберным.

– Я мышка-норушка, – шептал он в её колени, пока не перехватывало горло.

– Ты мышка-врунишка, – задушенно смеялась она, забываясь.

\* \* \*

В начале февраля, когда охотуправление наконец вошло в привычный рабочий режим, шеф направил Пакратова в командировку.

Обычно Сергей отправлялся в дорогу с охоткой. Стоило получить задание, он шуточно козырял Лукичу и тотчас заказывал билеты. Его молодой, нерастраченный ещё дух просил воли, новых встреч и свежих ощущений. Он выезжал с инспекторскими проверками практически каждый месяц. А уж когда командировка выпадала в южный куст, прямо-таки ног под собой от радости не чуял. Ведь частью тамошних угодий заведовал не кто-нибудь, а Пал Трофимыч, хороший, задушевный мужик, с которым они с первой же встречи сблизились и сдружились.

Нынешняя командировка была именно туда – в пенаты Трофимыча. Пакратову бы радоваться – такая удача выпала да ещё в начале года! – а он всю дорогу маялся и томился. Нет, поначалу-то, когда сел в поезд, Сергея по старой памяти повело. Разом нахлынули прежние впечатления. Вспомнилось, как Трофимыч водил его по токам, показывал бобровые запруды; как они ловили стерлядку; как пёрли грибы, когда они отправлялись в лес, – и грузди, и белые, не говоря уже о волнушках и лисичках. Но чем старательнее Сергей перебирал былые эпизоды, настраивая себя на предстоящую встречу, тем всё больше что-то не клеилось в его воспоминаниях.

наниях. Мысли сбивались, путались, мешались. В конце концов он оставил эти попытки, признавшись себе, что нынешняя командировка для него – лишь повод. Главное заключалось в другом. Ему понадобилось остаться с собой наедине, ему необходимо было вырваться из города, чтобы оказаться в одиночестве. Для чего? Да для того, чтобы сделать паузу, посмотреть на себя со стороны и осмыслить то, что с ним произошло.

Ему казалось, он был убеждён, что сможет это сделать. Если не объяснить самому себе, то хотя бы осмыслить. Однако чем дальше поезд отходил от областного центра, тем сумбурней, а потом монотоннее становились его мысли, пока не вылились в одну бесконечно-тягучую ноту, которую выбивали колеса вагона: «Ты куда? Ты куда? Ты куда?..» Сергеем завладело одно только желание – скорее возвратиться назад. И чтобы не рвануться к стоп-крану, он стал думать только о том, что и было предметом его душевной сумятицы.

Сергей думал о Ламке. Где она? Чем занимается? О чём думает? Вот сейчас, скорее всего, она в редакции – стучит на своей «Эрике» или вычитывает по телефону интервью. А вот сейчас – это уже через три-четыре часа – наверное, дожидается дочку в коридоре музыкальной школы. А сейчас – это час спустя – они плавают в бассейне...

Сергей мог представить Ламку в самых разных местах – на улице, в театре, в сквере, в редакции – словом, везде. За исключением одного места – её дома. И не только потому, что не бывал там. Там присутствовал её муж, а Пакратову даже в мыслях нестерпимо было соединять их.

Сергей уже знал, что муж у неё военный. Ещё на концерте, отметив четкую линию его плеча, Сергей подумал, что на нем не хватает погона. По возрасту ровесник, этот человек имел звание майора. Сергей с ходу заключил, что он карьерист. Мысль о том, что он мог заслужить досрочное звание, ему не приходила в голову. Вернее, приходила, но Сергей решительно отвергал её, упорно убеждая себя, что он – карьерист...

...Поезд прибыл на узловую станцию, которая одновременно была райцентром, рано утром. Встретил Пакратова сам Пал Трофимыч. Сергей издалека заметил его окладистую седую бороду, которая в свете привокзальных фонарей отливала инеем. Скинув рукавицы, они поздоровались, пыхая паром, дружески потрепали друг друга за плечи.

– Ну, вот и опять в наших сузёмах, – довольно заключил старый лесовик.

– Опять, Трофимыч... – кивнул Пакратов.

Пал Трофимыч был старше Сергея почти вдвое. Однако держались они на равных, не замечая стоящих меж ними лет. Возможно, разница в возрасте как бы перекрывалась разницей в служебном положении, хотя Пакратов ни жестом, ни словом никогда не подчеркивал этого.

– Сначала – ко мне, – садясь за руль служебного «козлика», сказал Трофимыч. – Перекусим, перекурим, а после уж – и за дела. Лады?

– Лады, – согласился Сергей.

Душа Сергея была не на месте. Незримое силовое поле всю дорогу будоражило его сердце, оно никак не могло вырваться из тех невидимых теней. Встреча с Трофимычем ободрила Сергея. Лицо старого лесовика, весь его вид внушали уверенность и надёжность. Захотелось укрепиться в своих ощущениях. Сергей закинул

руку на сиденье водителя и всю пятерню запустил в воротник его полушубка. Ему показалось, что ладонь его напитывается незримой живительной энергией, а сердце начинает стучать ровно и спокойно, как мотор ведомой Трофимычем машины.

Усадьба Трофимыча располагалась на окраине райцентра. Она раскинулась на берегу небольшой речушки, что делила райцентр на две части. На угорце высились просторная, хотя и одноэтажная изба, повернутая к берегу. На задворках по отдельности мостились хлев и сарай. А под угорцем у самой воды стояла банька. Вид крепенькой, ладной избушки сладким жаром отозвался в спине, Сергей аж крякнул от удовольствия. «Всё хорошо, всё путем!» – сказал он сам себе, обивая в сенах унты.

С последнего гостевания в этом доме прошло больше года. Однако видимых перемен в жилье Трофимыча, похоже, не произошло. Это Пакратов отметил как еще один знак стабильности и порядка.

Сполоснувшись с дороги, Сергей прошёл в переднюю горенку и сел за стол на привычное своё место – лицом к окнам. Занимался рассвет. Солнце на свой небесный насест ещё не взялось, но уже распустило зеленый павлиний хвост, который все больше светлел, наливаясь жаром.

В простенке между окнами висели два портрета – хозяина и его покойной жены. Такие парадные портреты в овальных рамках на паспарту делали в ателье, переснимая зачастую с крохотных карточек, а потом расцвечивая красками. У отца Пакратова в альбоме хранились хорошие снимки – и порознь, и вместе с матерью. А вот такого любовно созданного парного портрета на стене не висело. Всё было – и просторный дом в средней полосе, куда он переселился с Севера, выйдя на пенсию, – даже просторнее, чем у Трофимыча, – и сад, и пруд, и корова. А портрета жены, покойной мамы Сергея, в простенке не было. Ни с собой рядом, ни поодинке. Потому что в доме том была новая жена. Сергей побывал у них два года назад, да не прожил там и трёх дней, почуяв не то чтобы отчужденность, а какую-то свою неуместность.

Нежданное воспоминание обожгло, сердце опять всполошилось, зачастило. Не отдавая себе отчёта, Сергей снова засуетился, заспешил и взвинтил такой темп, что привёл Трофимыча в растерянность и недоумение. В конторе, куда они, по воле командированного, примчались, по сути не перекусив, Пакратов стал перебирать документацию. Трофимыч, по своей привычке, всё представлял основательно, норовил растолковать, показать поясняющие ту или иную цифру сводки и графики. Но Пакратов никак не мог сосредоточиться и, когда Трофимыч тянулся к нему с очередной бумажкой, отмахивался или кивал, дескать, верю, верю...

Командировка Пакратова была рядовой и во многом рутинной. Что требовалось на сей раз выполнить досконально – так это съездить в Векшинское урочище. Там сформировался новый заказник, по осени были построены контора, подворье, кораль. Шеф велел это всё сфотографировать и описать, поскольку в конце квартала планировал ехать с отчётом в Москву.

Трофимыч такую спешку не одобрил. Он предложил поездку в Векшу отложить до завтра – дорога неблизкая, лучше выехать спозаранку. Но Пакратов уже загорелся.

– Как знаешь, – сухо обронил Трофимыч и бросил на стол ключи от «козлика». Пакратов покачал головой – машина его не устраивала. До Векшинского урочища

на «козлик» можно было добраться лишь вкруговую – это поболее восьмидесяти километров.

– «Бураном» и напрямки! – решил он.

– Как знаешь, – опять обронил Трофимыч и кликнул своего зама – молодого мужика Вениамина.

Напрямик у них с Вениамином, конечно, не получилось. Пришлось огибать свежие, затянувшие луговины перелески, прорубаться в иных местах через квартальные просеки. Однако, несмотря на препятствия, дорогу они сократили почти вдвое.

В одном месте снегоход вырулил на попутный проселок. Кое-где колея была запятнана конским навозом. Пакратов огляделся, высунувшись из-за спины водителя. Дорога эта была ему знакома. Она соединяла два рядом стоящих села, здесь позапрошлым летом Сергей угодил на престольный праздник...

Сергей брёл по этому просёлку из села в село, вздымая дорожную пыль, потому что был слегка выпивши. На самом узком месте в гуще перелеска ему повстречалась девчонка. Крепенькая, уже созревшая, лет шестнадцати. «Куда путь держишь, красавица? – заступил он дорогу, пьяновато ухмыляясь. – Не боишься одна по лесу?..» – «Нет», – тихо ответила она, зыря глаза. Застенчивая, личиком не очень, но быстроглазая. «А ну как серый волк повстречается?..» – он произнёс это театрально-замогильным голосом, ухватил её за руку, шутя привлёк к себе, куражась, поцеловал, потом отпустил и, хохоча, но не оглядываясь, пошёл прочь.

Давнее воспоминание обожгло стыдом. Как он теперь казнил за ту выходку. Что стало с той девчонкой? А ну как он что-то нарушил в её судьбе? Жила себе и жила, а тут подвалил взрослый жиган и навел порчу. Мало ли как бывает. Поглядывал, допустим, на неё ровесник – хороший, смирный паренёк. А увидел однажды смятение в глазах подружки – и тоже оторопел. Нет, насчет своих мужских чар Сергей не обольщался. Но возраст! Это ведь такие неустойчивые годы, пятнадцать-семнадцать лет. Что стало с той девчонкой? Как повернулось? А ну как наперекосяк всё пошло? «Да преувеличиваешь ты, – пробовал он себя урезонить. – Теперь и в деревне они другие – смелые да разбитные». Урезонивал, отмахивался, словно не память, а назойливого слепня отгонял. А сердце-то ныло, обжигало...

...Обратно в райцентр Вениамин гнал «Буран» теми же путями. Они опять вылетели на тот самый просёлочек. За несколько часов его замело, даже колеи заровняло. Но Сергей узнал это место. А узнав, опять тягуче вздохнул. Добро, если память той девчонки замело, как эту дорогу. А коли нет?

Снегоход на выбоинах и рытвинах потряхивало, ведущую лыжу при этом заносило, «Буран» мотало из стороны в сторону. Должно быть, и память будет теперь вот так же донимать и потряхивать.

В райцентр они вернулись уже в потёмках. Умаявшись от дорожной тряски и мельтешни, Пакратов осоловел. Трофимыч, уже не спрашивая его, едва не силой потянул в баню.

Банька нависала над самой водой, так что после парилки можно было прыгать в прорубь. Но сегодня на эти молодецкие игрища у Сергея не осталось никаких сил. Он добрался до полка, задохнувшись от жара, и отдался на милость Трофимыча.

Трофимыч метался по бане чёртом. Это впечатление подчеркивало его обличие – кожаный фартук и драная кожаная ушанка. Ушанка, нахлобученная на лысину, да сивая борода закрывали почти всё лицо. Открытыми оставались только ядрёный, с горбинкой нос и щёлки глаз. Плеснув на каменку крутого кипятка, сдобренного солодовым пивком, Трофимыч принялся охаживать Сергея по бокам – да как! Сначала березовым веничком, распаренным до майской духовности, он называл его шёлковым. Потом – пихтовым, до предела размягчённым и исходящим масляным соком. А после – «для затирки» – можжевельным. Остатками сознания Сергей отмечал, что охаживал его Трофимыч на сей раз круче, чем обычно, – должно быть, не мог сдержать своей обиды. Но он, грешный, не противился, принимая эту экзекуцию как искупление.

Назавтра Пакратов не чаял подняться – до того стонали все косточки, когда пластом рухнул на кровать. Ему не хотелось ни есть, ни пить, а только спать, спать и спать... Но за ночь произошло что-то удивительное. Словно неведомая пружина подняла его ни свет ни заря, и он, махнув на все дела, тотчас засобирился в дорогу.

– Куда? – оторопел Трофимыч.

– Домой, – ответил Пакратов.

Трофимыч поначалу изумился, не в силах взять в толк, что с Сергеем происходит, – ведь командировка была рассчитана на неделю, – а потом и обиделся. Его горбатый нос еще больше обвис, а из густенной бороды, как сыроежки из мха, вздулись губы.

– Трофимыч! – спохватился Сергей. – Миленький! Прости меня! Надо!

– Баба, што ли? – в лоб пробурчал старый лесовик, видать, что-то различив на лице гостя.

– Женщина, – признался Сергей. – Хочешь, привезу? – это вырвалось само собой. – На смотрины?

– Валяй, – смилостивился Трофимыч, и Сергей, чтобы совсем уж загладить вину, сердечно обнял старого лесовика...

...Пакратов летел назад, как на крыльях. Да почему «как» – именно на крыльях. Поезд его не устраивал. Махнул на «козлик» в соседний район, где был аэропорт, и уговорил летунов взять его на транспортный «кукурузник». Шаг был рискованный. Намерзся, валяясь среди тюков да ящиков, – жуть. Единственное, что согревало, – мысль о Ламке. Ни о ком другом и ни о чём другом он не мог просто думать. Всё его существо устремлялось вперёд и, казалось, несло, опережая «кукурузник». Прилетели в областной центр в пятом часу. Сергей с ходу кинулся к телефонному аппарату. Всё трепетало в нём, когда он судорожно набирал номер. И что же? Он просто ушам своим не поверил: Ламки не оказалось. Не оказалось не просто на месте, а в городе, потому что буквально сегодня она уехала в командировку. Так сообщил ему слегка раздражённый женский голос на том конце провода. И эта неожиданная информация, и этот привычно неприятный голос просто подкосили Сергея. Он сел на ступени лестницы, возле которой находился автомат, и, чтобы не замычать, стиснул пальцами горло...

...Ламка отправилась в самый глухой район области. Там было полно колоний и зон. Зоны тянулись одна за другой вдоль железной дороги. А где зоны – там и беглецы, хотя до весны – «зеленого прокурора» – казалось ещё далеко.



Сердце Сергея было не на месте. Все эти дни он маялся, переживал, то и дело спускался к Филе.

Ему почему-то всё время надо было видеть бабочек.

Как-то днём Ламка вышла на связь. Звонила она из редакции районной газеты, к тому же, судя по тону, – в присутствии кого-то из сотрудников. Разговор длился не больше минуты. Однако Сергею и этого хватило, чтобы губы его целый день растягивались в блаженно-дурацкой улыбке.

Дни ожидания тянулись медленно. Сергея не покидало состояние тревоги. Однако иногда эти серые полосы перемежались всплесками нежности, и он терялся, не зная, куда эту нежность девать. В такие минуты Сергей улыбался и говорил комплименты всем особам охотуправления. Он без устали слушал излияния Маруси Пителиной о её пернатом детёныше. Для Таисии Тимофеевны он добывал индийский чай, меняя на него бездымный порох или дробь-нулевку. Нужник-Калиныч в такие часы находил в нём интересного и правильного собеседника. А Филе он проигрывал одну за другой шахматные партии, но при этом так яростно рычал и делал такое убитое лицо, что, похоже, снимал все нелепые подозрения.

Но больше всего этой обильно вырабатываемой нежности, разумеется, доставалось Алёшке. Сергей водил его в садик и забирал из садика. Все вечера они читали сказки, чего-нибудь рисовали, клеили и выпиливали. Они даже закончили собирать тот самый пластиковый клипер и провели в ванне испытания, однако, не выдержав собственного веса, парусник совершил оверкиль и пошёл на дно.

В очередной вечер Сергей малость припоздал. Пришёл в садик, когда всех ребятишек уже разобрали. Оставались только сынишка и светленькая остроносенькая девочка. Алёшка бросился к шкафчику. Сергей стал ему помогать. Но тут обратил внимание на ту самую девочку, которая, пригорюнившись, сидела в дальнем уголке.

– А она как же? – показал Пакратов глазами.

– За ней долго не приходят, – покачал головкой Алёшка.

– Давай подождем. А то ей грустно будет.

– Давай, – охотно согласился Алёшка, он ещё не успел разуть сандалии.

– На, угости, – Сергей протянул сынишке пару конфет.

Он схватил сладости и побежал к девочке. Тут появилась воспитательница.

– Опять за Парфёновой опаздывают. Прямо беда. – Она поминутно поглядывала на свои часики. – Что делать? Что делать?

– А в чем дело? – осведомился Пакратов.

– В семь... – воспитательница замялась, – у меня стоматолог. А тут ещё ехать...

Лицо её было озабочено, больше того – перекошено не то болью, не то гневом. Пакратов выразил сочувствие. Предложил подождать.

– Вы бегите. Мы побудем с девочкой...

– Правда? – обрадовалась воспитательница и кинулась к шкафу. Она стала собираться, время от времени все ещё выглядывая в окно и оценивая Пакратова взглядом. Сергей добросовестно играл с детьми, создавая образ честного, порядочного человека. Наконец, воспитательница упорхнула. Они остались втроем. И... засиделись. За девочкой никто не приходил. Миновал час. Пошёл девятый. Сторожиха-мямля ничего не посоветовала, перенимать эстафету дежурства не согласилась.

– Мои только территория да материальные ценности...

Пришлось забирать девочку с собой. Ну а чтобы не обрубить концы, Пакратов напоследок оставил адрес и телефон.

Короче, получилось хуже некуда. Уже часов в десять, когда девочку положили спать, прилетели воспитательница и мамаша. Мамаша была под изрядным градусом и в выражениях не стеснялась. Воспитательница краснела, бледнела и извинялась, но не перед Пакратовым, а перед этой разбушевавшейся особой.

– Как зуб? – спросил её Сергей.

– Какой зуб? – выпалила она и смешалась: – Ничего! Все хорошо!

Жена, утомлённая многочисленными всплесками эмоций, ушла спать. А Пакратов с Алёшкой ещё долго маялись.

– Па, – сказал, засыпая, Алешка, – а хорошо бы у нас сестричка была...

Он так и сказал: у нас. Сергей погладил его по головке и сказал: «Спи». У него, старшего, сестрички нет и уже не будет. А у сынишки?

\* \* \*

Командировка Пакратова наложилась на Ламкину командировку. В итоге они не виделись восемь дней. Дни ожидания тянулись подчас, как похоронная процессия. Сергей порой физически ощущал, как вяло и понуро тянутся на кладбище времени эти минуты и часы. И весь извёлся, ожидая её.

О прибытии Ламки известил коллега из районной инспекции. Всё было исполнено в лучших традициях советского детектива. Только вместо «славянского шкафа» Ламка выбрала паролем «материалы о развитии районной организации юных натуралистов».

Для приёма указанных материалов Сергей и приехал на вокзал. Поезд прибывал в десятом часу вечера. Едва Ламка ступила на перрон, он подхватил её под руку и увлёк к такси. Всю дорогу они молчали, только чувствовали локтями, что меж ними как будто пробегают искры. Машину Сергей оставил за квартал до «думского» особняка. По задворкам они прошли к торцу здания, и в потёмках он стал нашаривать замочную скважину. Как и всякое учреждение, это напичканное конторами здание было снабжено охранной сигнализацией. В этот час его уже приняла под свою опеку вневедомственная охрана. Любое поползновение сюда было бы зафиксировано на пульте. Однако Сергей, ожидая Ламку, не только считал дни и убивал время, но кое-что и предпринял. Филя, мастер на все руки, нарисовал простейшую схему прерывателя, и Сергей, не без его помощи, этот «жучок» соорудил. «Ну, Серега, – сокрушался Филя, делая глаза такими же круглыми, как и очки, – доведёт тебя эта баба. Помяни моё слово, ёшкарне!» И при этом загибал пальцы, перечисляя, какие статьи уголовного кодекса по Пакратову плачут. Сознавал ли Сергей, отдавал ли себе отчёт, что совершает противоправное действие? В тот момент он об этом просто не думал. Всё его существо, истомлённое ожиданием встречи, было нацелено лишь на одно.

Взлом казённой палаты прошёл успешно. Поддельный ключ был уже проверен. Двери открылись без скрипа. Сигнальная лампочка, горевшая в окне второго этажа, даже не мигнула.

Держа Ламку под руку, Сергей ступил в темноту и, уже закрыв двери изнутри, включил фонарик. Все в нём клокотало. Он задыхался. Но не столько от страха

или от холода, сколько от долгого ожидания. Ламка тоже дрожала. Когда они соприкасались локтями, меж ними явственно пробегали разряды, а фонарик в эти мгновения вспыхивал таким ослепительным светом, что Сергей выключил его, остерегаясь, что отблески заметят с улицы. Но странное дело – даже и выключенный, он не гас, а продолжал гореть, пульсируя в такт сердцебиению.

Дальнейшее Пакратов помнил плохо. Не помнил, как шарил в тайничке, где лежал ключ от анфилады. Не помнил, как они дотянулись до Ковчега, начиная скидывать свои одёжки от самых дверей. А уж что было потом – и давно. Ими овладело безумие...

...Очнулся Пакратов от какого-то звука. Где-то далеко звякнул не то засов, не то щеколда. Он с трудом разлепил глаза. Светало. Повернув к заоконному блику циферблат, Сергей обнаружил, что близится начало рабочего дня и вот-вот потянутся на места сотрудники. Голосом петушка Маруси Пителиной он протрубил подъём. Ламка оценила ситуацию без объяснений. Они вскочили и, загромождаясь, принялись собирать и поспешно надевать свои раскиданные где попало одёжки. Больше всего их воодушевлял светлый образ кристально чистого Калиныча. Если бы Нужник увидел, до какой степени пала «нонешняя молодежь», он, наверное, брякнулся бы без чувств. А разве можно было допустить, чтобы главный охотовед области вышел из строя!..

### 3

Первые сроки были сроками утоления. Они, словно истомленные путники, пришли к долгожданному ручью и всё пили и пили, не в силах утолить жажду. И только потом, не сразу, стали различать вкус воды, её прохладу, её ребяческую ласковость и одновременно разноречивость её струй.

Однажды Ламка сказала:

– Взрослые не помнят, что были детьми. Мне кажется, половина людей и не были детьми, сразу став взрослыми.

– И даже матери того не заметили? – чуть иронично возразил Сергей.

– Матери хотели того и торопили... Быстрее освободиться от пелёнок, ползунков, потом от учебников, скорее поставить на ноги... Как это у птиц?... – Она знала, как это у птиц, но ждала, видимо, отклика.

– На крыло...

– Вот! На крыло. А крыл-то как раз и лишают, не научив летать...

– Я один из таких? – в лоб спросил Сергей. – Бескрылых?

– Ты помнишь своё детство, – ответила она. А потом, уже много позже, как бы уточнила: – Знаешь, что меня подкупило? Ты услышал что-то... Помнишь, когда сказал про море, которое тихо накатывается на песок? А потом что-то услышал и добавил: «Хотя...» Вот это «хотя» всё и решило. Понимаешь? Ты хорошо слышишь, а главное – слушаешь...

Сергей не возражал. Кому охота отрицать то, что поднимает тебя в собственных глазах. Однако мысленно не то чтобы возражал, а как бы уточнял, делал поправки.

Ту историю с косачом он не завершил, не досказав её ни Филе, ни Ламке. И не то чтобы утаил, замолчал – просто надобности в том не было. Она заканчивалась

как заканчивалась. Ведь точка не обязательно ставится в конце. Концовку можно сделать и раньше. Это он уже усвоил, кропая свои опусы.

Когда Серёжка трясся над поверженной птицей – сначала в восторге, а потом в тихом ужасе, – раздался окрик. Над ним, пацанёнком, обессиленным и рухнувшим на колени, возник дядька Венька, отцов компаньон и приятель. «Что ты орёшь, егитвою-мать! – свистящим шёпотом запоздало зашипел он, вращая белками. – Всю дичину распугаешь!». А потом остервенело пнул убитого косача и добавил: «Что ты сопли распустил! Какой же ты мужик после этого!»

То есть выходило так: он признавал, готов был признать в нём, мальце, мужика, а он, Серёжка, своими «мерлихлюндиями» не оправдал этих ожиданий. Потом-то, повзрослев, Пакратов разобрался в его реакции. Раздражение дядьки Веньки шло не от разочарования по поводу него, мальчика, а от банальной зависти. Как же! – не он, взрослый мужик и промысловик, добыл матёрую птицу, а какой-то лопухий пацанёнок. Но тогда, в детстве, Пакратов всё воспринимал буквально. Это «какой же ты мужик!..» до того запало ему в душу, что он места себе не находил. Именно тогда – он это теперь понимал – и окончилось детство. Всю дальнейшую жизнь Пакратов выдавливал из себя всё немужицкое, то есть сентиментальное, романтическое, которое, видать, досталось ему от матери. Он мечтал о странствиях, о море, о парусах, а выбрал, вопреки себе, земную «мужицкую» профессию – пошёл в сельхозинститут и стал охотоведом. Вот и выходило, что он, хотя и слушал и слышал, сам же и перечил тому, что усваивал. А стало быть, не ему крылья подрезали, он сам их ломал, лишая себя полётности.

Такие вот мысли приходили Сергею в голову, когда он слушал Ламку. Прежде он не особенно задумывался над своей жизнью, над судьбой отца, матери. А тут вдруг стал перебирать старые фотографии, письма, перелистал пару собственных школьных тетрадок, словно пытался найти что-то. Этим неожиданным интересом к прошлому Сергей поделился с Ламкой, правда, мимоходом, между прочим, как говорят о пустяках, стесняясь придать им какое-то значение. Но Ламка не только поняла, но и успокоила его. Правда, поначалу она пошутила: дескать, эти «шаги следопыта» – ни больше ни меньше как признак пробуждения дремавшей доселе души. Потом лицо её сделалось серьезным, даже сосредоточенным. Оказалось, что у неё тоже подобное было. Она тоже до какого-то времени жила рассудком, в лучшем случае инстинктами, пока не обожглась. А обожглась, когда вышла замуж.

Отец у Ламки был военный. Она с детства боготворила его. Это обстоятельство определило и семейный выбор. Но оказалось, что отец-военный и муж-военный – это не одно и то же.

– Нет, он хороший, – спохватившись, добавила Ламка. – Порядочный... Во всяком случае не солдафон... И дочку вовремя по головке погладит.

Разговоров о своих половинах они с Ламкой, по негласному уговору, избегали, и если всё же невзначай затевали, то тут же благоразумно обрывали их.

– Ты обидчивый? – спросила как-то Ламка.

– Не знаю, – ответил Сергей. – Это зависит от ситуации и того, кто...

– Например...

– Например?... – Он вспомнил давний случай. – Сидели компанией в киношке. Смотрели английский фильм «Кромвель». Я обнаружил, что внешне мы схожи

с главным героем. Я на него похож или он на меня – не суть есть. Характер другой – крутой, дикий. Да и какие там в средневековье или чуть позже были нравы! Но внешне как близнецы... А особа, с которой у нас нечто намечалось, то ли не замечая того сходства, то ли, наоборот, видя, бросила про него что-то ехидное-ехидное...

Сергей не стал объяснять Ламке, что стало с «несносной обидчицей», – понадобилось бы что-то раскрывать, уточнять, а то и оправдываться. Ведь особой той была «тонкая натура» – его жена.

О своих половинах они старались не говорить. Зато о детях рассуждали много и охотно. Тем более что детство было главной темой Ламкиных публикаций.

«Существует расхожее выражение «Дети – цветы жизни», – прочитал Сергей в одном из её очерков. – Лично мне оно не нравится. Цветы – это красиво, но применительно к нашей природе быстротечно. Если уж сравнивать детей с флорой, то лучше обратиться к деревьям. Дети – маленькие деревья, растущие среди леса, образуемого взрослыми».

Сергей на это пошутил:

– Вот бы и называть так: мальчик по имени Клён, девочка по имени Оляха.

– А что! – откликнулась Ламка. – В древности, в язычестве, так ведь и называли...

Из этого у них возникла игра: что ещё годится на имена.

– А всё, – великодушно разрешила Ламка. В ход пошли птицы, звери, рыбы: мальчик Чибис, девочка Ряпушка. Вспомнив, что многое из этого ряда и так применяется в нарицательном смысле – премудрый Пескарь, например, – они обратились к травам и цветам. Потом перебрали россыпи полезных ископаемых. А ещё Ламке пришла идея использовать название месяцев.

– Ага, господин по имени Февраль, – съязвил Сергей, сделав упор на второй части.

– А если мальчик по имени Январь? – отозвалась Ламка.

Однажды они с нею шли по набережной. Им в тот день оказалось по пути – она направлялась за дочкой в музыкальную школу, а он – за сынишкой в садик, чтобы отвести его к зубному врачу. Уже смеркалось, к тому же набережная оказалась безлюдна. Они шли в обнимку, и время от времени целовались. Вдалеке кто-то показался. Они разомкнули руки и приняли чинный вид. Судя по росту, приближался мальчик. Так они заключили, обменявшись догадками. Однако когда прохожий поравнялся с ними, они поняли, что ошиблись. Это был взрослый, даже уже пожилой человек, хотя и маленького роста. На нём ладно сидело драповое пальтецо с каракулевым воротничком, а на голове высилась каракулевая – пирожком – папаха. Но самую примечательную часть его облика представляли руки. Он хлопал ими по бокам в такт каждому шагу, отчего походил на пингвина.

Удалившись от человека на порядочное расстояние, Сергей с Ламкой прыснули – до того этот субъект был занятный, потом устыдились своей бестактности и опять прыснули.

– Его в детстве сильно пеленали, – отсмеявшись, заключила Ламка. – Вот ручки при ходьбе и не действуют. Но я думаю, не только ручки... Те пелёнки наверняка повлияли и на рост. А может, – она чуть помедлила, – и душу деформировали...

– А мне кажется, он счастлив, – возразил Сергей. – Вот как вышагивает – важно да степенно. Доволен собой.

– Возможно, – улынулась Ламка и, как нередко бывало, завершила всё красивым пируэтом. – Но куколка почему-то не сидит вечно в коконе, хотя там тепло и уютно. Иначе в мире никто бы не видел бабочек – ни капустниц, ни тем более махаонов!

У неё была какая-то иная природа, у Ламки. Не такая, как у других. Сергей ощущал это всем своим существом. И особенно по утрам, если они оказывались вместе. Рядом с ней ему снились совершенно поразительные сны.

Однажды приснились два огромных облака, высоко стоящих в небе, как бывает летом в пору зноя. Они были похожи на бокалы. И он даже услышал звон, когда они сомкнулись и брызнули не то вином, не то дождем.

А ещё ему снился дом, который был поставлен на крышу, точно на киль. Он качивался на волнах, люди в нём плыли вниз головой. Но труба у дома-парохода была сверху, как положено, и дым выходил кольцами.

Самый горький сон был про воздушного змея. Этот змей оказался очень похож на того, которого они смастерили с другом Гешкой. Только на взаправдашнем был нарисован Барсик, кот. А на том, что привиделся во сне, Сергей увидел не то воробья, не то синичку. И ещё обнаружилась одна разница. Во сне он не различил лиц мальцов, которые собирались со всей окраины, когда проводились испытания. А конец, что в жизни, что во сне, оказался один. Кто-то сшиб того воздушного змея, шарахнув из кустов дуплетом картечи.

А самый долгий и необычайный сон Сергею приснился в ту ночь, когда он совершил дерзкое, но, по счастью, не замеченное никем преступление. Ему виделись какие-то далекие острова, изрезанные шхерами берега. Стояло высокое солнце. Доносилось хлопанье парусов. Он различал лица людей. Тут были мужчины и женщины. Облачённые в легкие струящиеся одежды, они, казалось, парили над зыбучими водами. Сергей оглядывался, всматривался в лица. Ламки среди них не находил. Но по жестам и мимике окружающих он угадывал её присутствие, словно облик Ламки отражался в них, как в зеркалах. И по всему этому, что ему открывалось, он не то чтобы догадался, а получил некий знак, что именно она, Ламка, и создаёт всю эту струистость и духоподъемность. Ему стало удивительно легко. И тогда, взмахнув руками, он поймал поток воздуха и... полетел.

\* \* \*

– Есть путевки в двухдневный дом отдыха, – сообщила Ламка в конце февраля. – Едем?

– О чем речь! – отозвался Сергей.

Поехали вчетвером: он с Алёшкой и она с дочуркой. Естественно, порознь, даже разными автобусными рейсами. Уже там, на месте, встретились и по-соседски познакомились.

Была пятница. Едва они расположились – пригласили ужинать. В столовой стоял полумрак, уютно горели свечи. Однако компания чувствовала себя немного скованно. Даже Сергей с Ламкой, вынужденно изображая начало знакомства, испытывали неловкость. А детишки были смиренные и чопорные, точно старички.

Алёшка исподлобья поглядывал на Ксюшу, а Ксюша чуть свысока – в прямом и переносном смысле – на Алёшку.

Вечер растаял быстро, как свечки. Путешественники поужинали, успели ещё прогуляться вокруг базы, осмотрев ближние окрестности, подсвеченные фонарями, и детям пришла пора спать. Поднялись на этаж, пожелав друг другу спокойной ночи, разошлись по номерам: Сергей – с Алёшкой, Ламка – с Ксюшей.

Ламка пришла к Сергею через полчаса:

– Моя не спит.

– Досадно. – Он кивнул на спящего Алёшку. – А моего сморило.

Обняв Ламку, он увлёк её на кровать. Однако присутствие беспокойно ворочавшегося Алёшки да мысль о Ксюше, ожидавшей маму, их сковывали. Оставив на подушке запах своих волос, Ламка вскоре ушла...

...Субботнее утро выдалось тихое и солнечное. Повсюду искрился снег. Синие тени живописно подчеркивали все взгорки и лощины.

– Айда кататься! – предложил Сергей, когда вся компания собралась за завтраком. Ксюша захлопала в ладоши. Алёшка закричал: «Ура!» Дети, похоже, уже одолели вчерашнюю скованность. Сергей перевёл глаза на Ламку.

– Айда! – улыбнулась она.

– Тогда внизу через четверть часа, – добавил Сергей.

– Через полчаса... – уточнила Ламка.

Пока мама с дочкой наряжались, отец с сынишкой наведались в пункт проката. Для себя и Ламки Сергей выбрал по паре лыж, а для детей предложили санки.

– Вот эти, – показал Алёшка на санки с рулевым управлением. – Я видел такие. Они называются «Чук и Гек».

На Алёшке был зимний коричневого цвета комбинезончик. Он походил в нём на медвежонка. Сергей был облачен в тёмно-синий спортивный костюм и синюю с белой полоской вязаную шапочку. Оглядев друг друга, они с сынишкой заключили, что выглядят неплохо. Но когда появились их дамы, они просто рты открыли. Ксюша была в голубом комбинезончике и белой пушистой шапочке. А на Ламке был ослепительно белый свитер и синие, облегающие её стройные ноги спортивные брюки. Слов у Сергей не нашлось. Он лишь украдкой показал ей большой палец.

Дом отдыха стоял в излучине реки. Поблизости оказалось множество откосов. Компания выбрала не очень крутой склон, где к тому же было безлюдно. Дети тотчас же сели на санки – Алёшка за руль, Ксюша у него за спиной – и, повизгивая, понеслись вниз. Сергей с Ламкой замерли, во все глаза следя за их спуском. Внизу Алёшка, видать, не справился с управлением, санки завалились на бок. До родителей донесся веселый залиvistый смех. Облегченно вздохнув, Сергей с Ламкой тоже ринулись вниз.

Резвились они на склоне до полудня. Детвора вошла в раж и уже каталась не только на санках, но и кубарем друг на дружке. Глядя на эти кульбиты, Сергей с Ламкой от души хохотали и украдкой целовались.

Потом Пакратов-старший собрал всю компанию на пирожки.

– Откуда? – наперебой расспрашивали дети. Даже Ламка удивилась. А когда распробовали да обнаружили, что они тёплые, все просто глаза вытаращили. Сергей держал пирожки за пазухой, завернув их в специальный термический па-

кет – они сохранились такими, какими он взял их на кухне. Однако охотничьей тайны Сергей никому не выдал.

– Лисичка принесла, – не моргнув глазом, слукавил он.

– Лисичка? – вскинулся Алёшка.

– Когда? Где? – чуть недоверчиво переспросила Ксюша.

– А вот там, – Сергей махнул рукой в сторону леса.

Дети немедленно побежали к опушке, забыв про санки и, кажется, про родителей. Сергей с Ламкой переглянулись и быстро поцеловались.

На опушке перелеска оказалось множество разных следов.

– Вот этот? Этот? – тыкали дети пальцами, наперебой поминая лисичку. Сергей подошел ближе.

– Не-е, это белочка, – пояснил он. – Следы задних лапок впереди и в стороне от передних. Видите? Она, должно быть, прыгнула с этой осины. – Он тронул сероватый заиндевельный ствол. – Корм ищет.

– А разве она не в дупле его спрятала? – отозвалась Ксюша. – Разве не знает, где?

Сергей стал объяснять, что животные не всегда помнят свои тайники и закрома. Даже люди подчас забывают, куда что кладут, а уж звери да птицы и подавно.

Возле заваленного снегом стожка они обнаружили следы горноста – коготки хорошо виднелись на плотном насте.

– Наверное, охотился на мышек-полёвок, – предположил Сергей.

– А это? А это? – Алёшка увидел свежую строчку.

– Это заяц-беляк, – определил Сергей. – Две лапки впереди – это задние. Они сильнее. Видишь, и след крупнее. А задний следок, наоборот, от передних лапок. Расстояние между ними невелико. Значит, здесь он неторопливо бежал, опасности не было.

Дружной цепочкой – дети впереди, Сергей с Ламкой позади – вся их компания двинулась по заячьему следу. След петлял, зайчишка метался из стороны в сторону, должно быть, готовился к залёжке. На очередном повороте след удлинился. На петле его пересёк другой – более крупный и вкрадчивый.

– Это лиса, – пояснил Сергей.

Дети вопрошающе обернулись. Он понял.

– Это не наша – другая. Из другого семейства. Зайчик её учуял и припустил. Вон как запетлял, путая следы.

– А это? – вдруг вскрикнула Ксюша, с неподдельным изумлением схватив Пакратова-старшего за локоть. Она тыкала пальчиком в сторону довольно глубокой воронки, которая выделялась на совершенно нетронутом снегу. Сергей присмотрелся. По краям воронки виднелись характерные полосы – это были отпечатки крыльев. Скорее всего, следы эти оставила ворона, спланировавшая на полевую мышку. Но Сергей не дал правдивого объяснения. Он скорчил устрашающую гримасу и утробным голосом возвестил:

– О-о! Это коготь дракона. Он оставил этот след, когда вылетел поохотиться на симпатичных маленьких девочек.

Ксюша ойкнула, втянула голову в плечи, но по лукавым искоркам, вспыхнувшим в глазёнках, он догадался, что она приняла его игру. А Алёшка отнесся к этому ревниво.



– Па, – потянул он отца в сторону и, не зная, на что перевести его внимание, ткнул в первую же попавшуюся на глаза горку снега.

– Это, – Сергей заметил ещё несколько похожих горок, – это всё куропатки оставили.

До Сергея донёлся голос. Он не сразу смекнул чей. Обернулся. Глаза Ламки смеялись. А голос она душила, отчего смех прерывался каким-то по-птичьему счастливым клёкотом. Как тут было не отозваться!

– Это они, белые, выныривали из-под снега, являя белому свету свою упругую прелесть... – так вот велеречиво изрёк Сергей. Глаза же свои при этом отвёл, потому что остерегался не совладать с собою. Да и Ламка, глядя на него, на глазах у детей могла понадеяться счастливых, но не понятных им глупостей. И чтобы окончательно отвести обоих от опасной черты, Сергей принялся объяснять Алёшке и Ксюше птичьих повадки.

– Видите, какие следы широкие. Будто и не птичьих. Правда? Это потому, что на зиму куропатки обувают сапожки.

– Сапожки? – удивилась Ксюша.

– Да, – кивнул Сергей. – Из перьев. Ведь лапкам на снегу холодно... А в мае, когда снег сходит, они эти сапожки разувают...

Он ещё долго объяснял детям азы орнитологии, биологии зверей и птиц, пока не пришла пора отправляться на обед. Шли парами: впереди дети, следом они с Ламкой.

– А Алёшка-то, Алёшка! – кивал Сергей. Алёшка оказался кавалером – на обратном пути вёз Ксюшу на санках.

– Хороший пример тоже заразителен, – поощрила Сергея Ламка.

После обеда погода стала портиться. Солнышко скрылось, занялась позёмка, а к вечеру разыгралась нешуточная метель.

Остаток дня компания провела под крышей. Смотрели в кинозале мультфильмы. Играли в настольный футбол. Не спеша поужинали. А потом ушли к себе и устроили чаепитие с конфетами и сладостями.

За окном завывал ветер, а в номере было тепло и уютно. Дети малость приморились, но спать не соглашались.

– Дядя Серёжа, – попросила Ксюша, – расскажите ещё чего-нибудь... Пожалуйста.

– О чём? – улыбнулся Пакратов. Вчера ещё эта девочка глядела на него настороженно и почти подозрительно. А сегодня тянулась и доверчиво заглядывала в глаза. Сергей не обольщался на свой счет – новый человек всегда любопытен. Однако вывод сделал в свою пользу: видать, у папы-майора руки-то не доходят, чтобы приглубить дочурку.

– О чём хотите, – сказала Ксюша.

– Ну что ж, – отозвался Сергей и, решив приблизить час отбоя, стал рассказывать про лесную соню, мышку с длинным пушистым хвостиком. Рассказал, как она выглядит, как питается. Но когда завёл про зимовку и сказал, что лесная соня нередко поселяется в чужих гнёздах, сбился и умолк.

Ламка сидела в кресле возле окна. Она была не то рассеянна, не то задумчива.

– Пусть мама расскажет, – шепнул Пакратов. – Попроси.

Просить Ламку не понадобилось – она услышала с первого раза. Посмотрев на Сергея, она отхлебнула из бокала сухого вина, потом кивнула Ксюше и, отвернувшись к окну, заговорила:

– Жил был Ветер, и была у него жена – простая русоволосая женщина. Ветер часто улетал, носился над лесами и долами, взмывал на высоченные вершины и опускался в глубокие ущелья. В поисках чего-нибудь неведомого он обследовал все земные уголки. Потом усталый возвращался домой, выпивал кувшин молока и затихал, склонив голову на колени жены. Жена вынимала гребень и принималась расчёсывать его спутанные волосы. А когда муж засыпал, латала его драный дорожный плащ. Наступал рассвет, и Ветер снова улетал в неведомые дали...

Алёшка задремал. Но Сергей с Ксюшей слушали Ламку, затаив дыхание и ловя каждое слово.

– Так продолжалось долго – всю жизнь. Но вот однажды Ветер улетел и назад не вернулся. Миновал день, прошёл другой, окончился третий... Каждый вечер женщина выходила на крыльцо и ждала мужа. Она до потёмок глядела в закатную сторону. На небе загорались звёзды и всё явственнее проступал Млечный Путь...

Ламка сделала глоток.

– В тот вечер, как всегда, женщина стояла на крыльце. С Млечного Пути брызнула звёздочка. Женщина проследила её коротенькую вспышку и вернулась в дом. На душе у неё было беспокойно. Сев у камелька, она принялась за пряжу, а сама всё прислушивалась. Неожиданно донёсся всхлип. Он шёл откуда-то издалека. Так ей показалось. Она замерла и сидела не шелохнувшись. Звук повторился. Только это был уже не всхлип, а жалобный стон. Женщина обвела глазами все углы. Стон доносился из печной трубы. Женщина встрепенулась, бросилась на улицу и запрокинула голову. Над печной трубой тревожно метался слабый дымок, очертанием повторяя блистающий Млечный Путь. «Вот ты где!» – грустно прошептала женщина. Она всё поняла. Её муж Ветер умчался за земные пределы. Создатель сделал его пастухом, и Ветер пасёт теперь отару звёзд на Млечном лугу. А душа Ветра послана на Землю. Это она курлычет в печной трубе, выражая его печаль и любовь... Вернувшись в дом, женщина поставила на припечек плошку молока. Утром плошка, оказалась суха... С тех пор так и повелось. Когда солнце отправлялось на покой, женщина выходила на крыльцо и поднимала голову в сторону Млечной дороги. В полночь оттуда срывалась маленькая звёздочка. Женщина возвращалась в дом и ставила на припечек плошку с молоком. Утром в плошке не оставалось ни капли. Зато вечером женщине казалось, что Млечный Путь сияет ещё ярче...

Ламка умолкла. Сергей с Ксюшей не шевелились. Тишину нарушало лишь Алёшкино посапывание.

– Мама, – спросила Ксюша, голос её был напряжён, а глаза широко раскрыты. – Как звали ту женщину?

Ламка повернулась, глотнула вина, посмотрела на дочку, более пристально – на Сергея и снова устремила глаза в окно:

– Катти Сарк...

...День подошёл к концу. Алёшка спал. Ламка предложила не тревожить его, а оставить в их номере. Сергей так и сделал, только раздел и перенёс малого на Ламкину постель.

– Готов предоставить поэтическое прибежище, – шепнул он Ламке. Она прижалась к нему, потому что Ксюша к той поре тоже утомилась. Правда, когда они с Ламкой уходили, ему показалось, что она подняла голову.

К полуночи метель ослабла. Ветер стих. Небо вызвездило. По небесному океан-морию поплыл парусок месяца.

Растратив наконец пыл, который с трудом сдерживался больше суток, Сергей с Ламкой тоже затихли. Лёжа в объятиях друг друга, они неспешно переговаривались. Обсуждая, нахваливали детей. Перебирая прошедший день, вспомнили про лисичкин гостинец. Тут Ламка стала выпытывать, как ему это удалось – сохранить пирожки горячими. Сергей поначалу подразнил её, а потом признался.

– Вот она, оказывается, какая Лиса Алиса, – протянула Ламка и принялась его щекотать.

Сергей уворачивался, отбивался, пытался ускользнуть.

– Какая же я Алиса? – В подтверждение этого соприкасался убедительным местом, предъявляя его как неоспоримый факт, – ничего не помогало, пока наконец он не стиснул Ламку в объятиях. – Какая же я Алиса, – утишая смех и дыхание, возражал он. – Уж тогда лучше Кот Базилио, – и при этом миролюбиво и сладко замурлыкал. Лунный свет, ограниченный шторами, теперь падал на Ламкину грудь. – Вот это поле чудес. – Сергей касался губами теплой кожи. – Вот это серебряные монетки. – Он перебрал губами все до единой родинки, что составляли созвездие Ламки. – Что купит на них благородный Кот Базилио? – Это он произнёс дурковатым голосом, и тут же надел личину Кота Матроскина, очень убедительно промяукал: – Молочка...

Лунный свет стекал с Ламкиного соска и струился ниже.

– Куда ведет этот млечный путь? – шептал Сергей, уже выходя из роли и начиная задыхаться. – Ему мешают горные отроги. – Это он коснулся скомканного одеяла и, не в силах более что-либо говорить, решительно откинул его, давая выход лунной дорожке...

...Очнулся Сергей под утро. Начинало светать. Ламка лежала на боку спиной к нему, но он догадался, что она не спит.

– Я люблю тебя, – одними губами вышептал он в её маковку, возможно, даже не произнёс, а только подумал. Но Ламка услышала. Она порывисто обернулась и обняла его:

– Я тоже люблю тебя. – Глаза у Ламки были переполнены и вот-вот могли пролиться. – Серёжа, милый, давай уедем...

Со сна он ничего не понял. К тому же сейчас его занимала чистота дыхания, и он искусно уворачивался, пряча лицо у Ламки на груди.

– Конечно, поедem... После обеда...

– Я не о том, – Ламка стремительно поднялась на колени. – Совсем уедем... Бери сына, я – дочку, и уедем. Куда хочешь. – Она молитвенно сжала кулачки. – Хоть в Сибирь...

Сергей был так огорошен, что не мог ничего сообразить. Но Ламка расценила его молчание по-своему:

– Твоя отдаст... Я знаю...

– Ты встречалась с нею? – он чуть напряжился.

– Я видела... – Ламка помешкала, – её глаза.

Она возвышалась над ним во всей своей красе. Ему бы любоваться этой удивительной женщиной, оглядывая её всю от маковки до пят, но он впервые видел её такой смятенной и не знал, как себя держать. Прямо в глаза он смотреть был не в силах, и чтобы уж совсем не отводить взгляда, прятал его в созвездие родинок, которые обнажила соскользнувшая с плеча бретелька.

– Рожу ещё... Если захочешь, – выдохнула Ламка. Взгляд Сергея метнулся к потолку.

– Ты хочешь сказать: а он? – опять по-своему истолковала Ламка. – Он смолчит. Закон, во всяком случае, не переступит... Но только надо уехать...

– Почему? – вырвалось у Сергея.

– Ну как же! – мучительно улыбнулась она. – Здесь?.. При них?.. – Это прозвучало так, словно тени его жены и её мужа находились сейчас здесь, в этой комнате. Сергей даже дыхание притаил.

Что сказать, как ответить – чтобы и не обидеть, и не давать скоропалительных обещаний, – Сергей не знал. Душа его ещё не созрела. Он не готов был к этому экзамену. А отвечать впопыхах не чувствовал ни желания, ни права.

– Давай подождем, – сказал он. – Скоро весна. Будет много солнышка, света, и всё прояснится... Ладно?

Откуда было Сергею знать, что к той поре отношения в семье у Ламки обострились. По милости редакционной соседки – бдительной старой девы – муж прознал про тайную связь, и меж супругами состоялся очень крутой разговор. Сергей не знал этого, потому что так уж повелось у них – о семейных делах, тем более о женах-мужьях, они с Ламкой почти не говорили.

Изменилось ли что-то в их отношениях после той поездки? Сергей ничего не замечал. Ламка была такая же порывистая, такая же трепетная. Разве только немного посуше стали её глаза, словно их тронуло первое весеннее солнышко.

– Отчего это? – спросил он.

– Весна. Авитаминоз, – как бы подтверждая его догадку, обронила она.

В начале марта Ламка снова собралась в командировку. На сей раз ей предстояло ехать в соседнюю область. По этой причине разлука могла затянуться. И, словно предчувствуя это, в последний вечер они долго не могли расстаться.

– Не звони, – попросила она. – Ладно? – Она остерегала его от редакционной соседки, хотя для неё, Ламки, это уже не имело никакого значения. – Я сама объявлюсь. Хорошо?

– Хорошо, – согласился он, совсем не желая признавать, что это хорошо.

...Сергей не звонил в редакцию две недели. Две недели он не слышал её голоса. Однако не потому, что держал слово, – сам очутился в командировке. Причём где? – в самом северном районе области, на берегу океана. Он не в силах был сдержать это слово и не раз пытался дозвониться. Больше того, однажды его соединили. Слышимость оказалась отвратительная. Но дело было даже не в этом, потому что не столь важен казался смысл, сколько вообще голос. Трубку взяла не Ламка, а видимо, та неведомая ему соседка, и он отказался от разговора.

В той командировке ему ничего не оставалось делать, как изводить себя работой. Он мотался с места на место по дальним заказчикам, урывками спал, чем

придётся и когда придётся питался. Он так извёлся за те дни, что к концу второй недели укоротил брючный ремень аж на три дырки.

Программу командировки Сергей завершил досрочно. Однако когда собрался назад, на край обрушился циклон. Стихия перемешала небо и землю в один метельный клубок. Пурга бушевала неделю. Самолеты, ясно дело, не летали. В итоге в областной центр Сергей вернулся на двадцатые сутки.

Был полдень, когда он вошёл в свой подъезд. Машинально открыл почтовый ящик. Жена почту не забирала. Там скопились стопка газет, журнал «Охота и охотничье хозяйство», счёт за телефон и письмо. Почерк на конверте он узнал. Его бросило в жар – рука была Ламкина. Сердце встрепенулось, он никак не мог распечатать конверт и в конце концов, глянув на просвет, оторвал кромку. Внутри виднелся голубоватый листок. Он извлёк его. Это оказался больничный. Листок был заполнен непонятным медицинским почерком. А поперёк красным фломастером было выведено два слова. Сергея обнесло, он едва успел ухватиться за перила. Одолев внезапный приступ, он, как пьяный, поднялся на свой этаж, открыл квартиру и, не раздеваясь, бросился к телефону. Ламкин номер не отвечал. Он порылся в справочнике, нашёл редакционный раздел, набрал первый же попавшийся – не то секретариата, не то бухгалтерии – и, когда услышал отзыв, почему-то представился преподавателем музыкальной школы.

– А вы разве не знаете? – донесся раздражённый мужской голос. – Она уволилась.

– Уволилась? – повторил Сергей. – Очень хорошо.

Это «очень хорошо» потом аукалось, как икота.

Уставившись в окно, Сергей тупо глядел поверх крыш. Чистое небо, по которому он успел проскочить, затягивало непроницаемым чёрным валом. Сумерки быстро охватывали дворы, промежутки меж домами. Небесная полоска, мерцавшая между земным и небесным мороком, всё истончалась и истончалась. Не желая дожидаться, когда окончательно закроется чёрный занавес, Сергей встрепенулся и бросился на улицу. Мигнул огонёк такси. Сергей резко вскинул руку. Адреса, куда ехать, он не знал, но район и дом помнил, потому что однажды провожал её. «Этот дом наполовину принадлежит военному округу», – пояснила Ламка. На какую половину, Сергей догадался по колеру. Два из четырёх подъездов были выкрашены снизу доверху в различные оттенки защитного цвета. Теперь предстояло определить квартиру. Ламка поминала, что соседские мальчишки балуются с номером, поворачивая цифру. Какую цифру можно поворачивать, меняя значение? – «шестёрку» на «девятку» или наоборот. Сергей добросовестно обошел все этажи. В начертании номеров царил невоенный разнобой. Одни были написаны краской прямо по филёнке, другие – на фанерных ромбиках и квадратах. И только несколько номеров с «шестёрками» и «девятками» оказались исполнены в металле. Сергей нажал звонок квартиры номер 36, где «шестёрка» крепилась на одном шурупе. «Будь что будет, – решил он. – Откроет муж – обращусь к мужу». Он был готов сейчас ко всему. Но случилось то, чего он не мог и предполагать. Двери открыла средних лет незнакомая женщина. Сергей назвал Ламкину фамилию, уже решив, что дедуктивный метод его подвёл. Однако оказалось, нет. Он попал в самую точку. Только опоздал.

– Они съехали, – сказала женщина.

– Как? – только и смог выдать Сергей. У него, видимо, было такое лицо, что женщина, добрая душа, решила выдать военную тайну:

– Они на Кубе. Мужа перевели...

...Сергей не помнил, как спустился вниз, куда пошёл, где бродил. Счёт времени, а главное – его смысл перестали существовать для него, потому что в этом времени, сейчас и здесь, не стало Ламки.

Было уже темно, когда ноги принесли Сергея к думскому особняку. Из-под дверей таксидермической мастерской пробивалась полоска света. Хозяин филармонии был на месте.

– О, Серенький! – обрадовался Филя, когда Сергей отворил дверь. Нетвердой, слегка вихляющей походкой он двинулся навстречу. – Опять по пятницам пойдут свидания... – И осекся. Потому что увидел глаза Сергея.

Военной тайной, в отличие от новой хозяйки квартиры номер 36, Филя не владел. У него была только водка. Посадив Сергея к столу, он вылил в стакан всё, что у него имелось. Сергей выпил и даже не поморщился. Хмель его не брал, он уже проверял.

– Ты посиди тут, – засуетился Филя. – Я сбегаю... – Он схватил полушубок и неожиданно живо надел его. – Только куда... Слышишь? – Ушанку он нахлобучил на ходу. – Я живо... – Пнул ногой дверь. – Одна нога здесь... – И выскочил наружу. Концовку фразы отсекала тугая пружина, вернув дверь в первоначальное положение.

Когда пружина перестала зудеть, Сергей перебрался на лекало, где обычно сидел по пятницам. Перед ним во всем своём великолепии предстали бабочки. Планшеты были подсвечены лампой дневного света, которая, слегка потрескивая, посылала в потолок рассеянный мертвенный свет. От этого казалось, что бабочки шевелят крылышками. Сергей недоверчиво помотал головой, слепил и разлепил веки. Ощущение не пропадало. Бабочки и впрямь шевелились, словно куда-то поманивали. «Куда?» – вытянулся Сергей и наконец понял: бабочки манили к себе.

Более не медля, Сергей вскочил с колоды, вышел из филармонии, перед этим сняв с защёлки английский замок, и поднялся на второй этаж. В кабинете шефа и в «предбаннике» шла уборка. Он прошёл в противоположный конец. Двери анфилады были уже закрыты. Он извлёк из тайника ключ и вошёл внутрь. Минуя Ковчег, который вновь стал старым диваном, Сергей даже не взглянул на него, а прошёл в свой кабинетик и затворил за собою дверь.

Всё, что Сергей теперь делал, он делал машинально, почти автоматически. Машинально отомкнул металлический шкаф, где хранилось подготовленное к регистрации оружие. Машинально достал стоявшую с краю одноствольную «тулку». Машинально извлёк из патронташа патрон. Справа, куда скользнула рука, всегда держались «жаканы». Он не ошибся в своем выборе. А убедился, что не ошибся, заглянув внутрь. На папковом пыже, который был забит на сантиметр от обреза, алел выведенный фломастером алый крест. Сергею вспомнился больничный листок. Он вытащил его из кармана и разглядел. На листке алым по голубому был выведен приговор. Именно так, а никак иначе это следовало читать: «Был мальчик».

«Был ли мальчик?» – ворошилась кровь, переливаясь из пустого в порожнее. «Был, – отдавалось гулким эхом в звенящей пустоте. – Мальчик был».

Воздуху не хватало. Сергей задышался. Поднявшись со стула, он шибанул створку окна.

«Мальчик был. Мальчик по имени Январь. А теперь его нет. Нет и уже никогда не будет. Я не покажу ему альбом с акварелями чайных клиперов. И мы с ним никогда не построим «Катти Сарк». Потому что мальчик был. Был, а теперь его нет».

Сергей вернулся к столу, рухнул на стул и лихорадочно сцапал листок. Комкая бумажку в ладони, он мял её до тех пор, пока не смял в небольшой шарик.

– Вот, – пробормотал он, бросив шарик на стол. Однако и смятый, этот клочок бумаги шевелился, расправлялся и напоминал живое существо. Сергей судорожно схватил его и торопливо загнал в патрон, утрамбовав по самые закрайки. Больше листок не шевелился.

– Всё, – выдохнул Сергей. Дрожащими руками, судорожно сглатывая слюну, переломил ружье и загнал патрон в патронник. Затвор клацнул. Пахнуло смазкой, отчего Сергея замутило и едва не стошнило. Чтобы передохнуть, набраться сил, он положил ружьё на стол и откинулся на спинку стула.

Потолок был белый. Кусок лепнины – частичка большого рельефного круга – напоминал очертания наполненного ветром паруса. Сергей подумал об этом вскользь, опять же машинально. И вот только так подумал, как вдруг что-то произошло. Двери кабинетика внезапно распахнулись. По закоулкам помещения пронёсся стремительный вихрь. Он поднял на воздух всё, что способно было летать – плакатики и листовки из открытого шкафа, памятки и инструкции с полок, деловые письма со стола. И только те бумаги, которые находились под спудом «тулки», были не в силах вырваться на волю.

Сергей оторвался от спинки стула, взгляд его скользнул с потолка, царапнул стену. В глубине распахнутых дверей мерцали кольца Филиных очков. Чуть ниже и ближе к проёму белело испуганно-ищущее лицо жены. А в самих дверях стоял Алёшка. Он стискивал ушанку. Волосёнки его были растрёпаны, рот раскрыт. А глаза зачарованно глядели на поднятые вихрем бумаги, как совсем недавно и уже страшно давно они восхищались новогодней ёлкой, на которой сверкали, блистали и переливались огнями большие разноцветные шары.

*Редакция журнала «Новая Немига литературная»  
от всей души поздравляет Михаила Константиновича Попова  
с 70-летием и желает ему доброго здоровья, вдохновения и новых книг.*



## Поэзия

---

*Валерий ХАТЮШИН*

---

### *Свет во тьме*

#### **ФАВОРСКОЕ СОЛНЦЕ**

Забыли мы о многом  
в плену пустых идей.  
Но было солнце Богом  
когда-то у людей.

И в это верил каждый,  
покуда царь-мудрец  
им не сказал однажды:  
«У Солнца есть Отец».

Живой любви вершина...  
И вот сквозь тьму веков  
излился свет от Сына  
на трёх учеников.

Он солнцем на Фаворе  
пред ними воссиял.  
Всех трёх, с огнём во взоре,  
сердечный страх объял...

«Ты кто?!» – кричали судьи,  
плюя в лицо Ему.  
Распяли Солнце люди,  
влюбленные во тьму.

Но лился свет Фавора  
как сердцу благодать...  
И Савл ослеп, чтоб скоро  
прозревшим Павлом стать.

#### **ПУТЬ**

То, что было, то, что стало, –  
смутно светится в стихах...  
Кто-то вновь начнёт сначала  
этот путь судьбе на страх.  
Да, пройдет его иначе.  
Что ж, у каждого он свой.  
И в слезах – не раз поплачет  
над судьбой и над собой.  
Жизнь над ним лишь посмеётся,  
вспять заставит повернуть...  
От поэта остаётся  
грустный свет и горький путь.  
А стихи – почти как птицы –  
просвистят и улетят...  
Книг беззвучные страницы  
в мир людской с тоской глядят.  
Но они – всех благ превыше  
и милей всех книг иных,  
я от них дыханье слышу,  
близкий взгляд я вижу в них,  
чую голос осторожный  
возле самого лица...  
Это значит, путь осторожный  
пройден мной не до конца.  
Мне еще на белом свете  
дорога душа одна,  
и еще в окно мне светит  
полноясная луна...



**БЕРЕСКЛЕТ**

Непривычно холодное лето,  
то ли снег, то ли пух с тополей...  
И от ярких цветов бересклета  
хоть немного, а как-то теплей.

Хоть немного, а как-то светлее  
под ненастьем блуждающих туч...  
В тёмном парке беззвучны аллеи,  
а ведь был он несметно певуч...

И почудилось мне, будто лето  
стороной мимо нас протекло,  
незаметно развеялось где-то,  
растеряв безвозвратно тепло.

На аллеях безлюдно-безгласных  
ранней осени столько примет...  
И как отсвет предчувствий неясных  
краснолистный цветёт бересклет...

**ВИНО И ХЛЕБ**

Как много лет, мой друг, поверь,  
в потёмках я блуждал.  
Христос в мою стучался дверь,  
но я не открывал.

Я оставался глух и слеп,  
мне было знать смешно,  
чьим телом был мой чёрный хлеб  
и кровью чьей – вино.

Себя изжил я, как беду.  
Открыта настезь дверь.  
Я нашей скорой встречи жду.  
И горько мне теперь...

Я знаю, кто спасал меня –  
чья кровь и тело чьё.  
И отсвет горнего огня  
изжёт лицо моё...

Как много, друг, больших потерь,  
как сердцем я устал...  
...Христос в мою стучался дверь,  
и я – не открывал...

**ЖИВОЙ КОРАБЛЬ**

Кому-то – земные награды без счёта,  
кому-то – инфаркты борьбы.  
Одним, как всегда, – нервотрёпка, работа,  
другим же – рыбалка, грибы...

Кто скажет на свете, чья выше награда?  
Кто знает, кому повезло?  
Есть только одна неземная отрада,  
дарящая свет и тепло.

Есть только одно неземное спасенье,  
любовь и надежда одна...  
И пусть кораблю предрекают крушенье,  
и море бушует, и нет утешенья,  
и суша едва лишь видна.

Кричит буревестник – тревожная птица...  
Мерцает в тумане земля...  
А волны грохочут, и мачта кренится,  
и крысы бегут с корабля...

\* \* \*

На Рождество – крещенские морозы,  
а на Крещение – оттепель и дождь.  
Такие вот у нас метаморфозы,  
такое вот несовпадение сплошь...

И в жизни тоже – сплошь несовпадение  
с мечтой, с надеждой, с песней, со страной...  
И только снега сонное круженье  
с моей совпало сердца сединой...

\* \* \*

Выйдет всё поделом, что ни выпадет мне.  
Буду я со Христом даже в адском огне.

Для себя – сберегу свет живого Креста.  
Я из рая сбегу, если он – без Христа.

Кану в стон мировой – и с прощеньем, и без.  
Пусть во тьме гробовой – не увижу небес.

Пусть я к омуту слёз в час последний приду.  
Небо – там, где Христос, даже если – в аду.

## СВЕТ ВО ТЬМЕ

Стоит хранимый Богом Дом  
времён на переломе...  
Чем меньше света за окном,  
тем больше света в Доме.

Где холодной ночная мгла,  
там ласка звёзд теплее...  
Чем в подлом мире больше зла,  
тем мы добром сильнее.

А где раздор, там и разор –  
бездомная дорога...  
Но чем бесовский громче ор,  
тем в сердце больше Бога.

И мы очнёмся от своей  
душевной летаргии.  
Чем тьма всемирная плотней,  
тем ярче свет России.

\* \* \*

*«Чтоб... о любви мне сладкий  
голос пел...»*

М.Ю. Лермонтов

Еще одно угаснувшее лето,  
Еще одно иссякшее тепло...  
В сырых лучах осеннего рассвета  
моим глазам прозренья снизошло.

Сквозь облаков завесу жестяную  
я разглядел свой невозвратный путь.  
В дороге этой в область неземную  
я не смогу присесть и отдохнуть.

Я понесу с собою груз несметный  
желаний, дел, сомнений и грехов,  
ожог сердечный, многим незаметный,  
навет врагов и грустный свет стихов.

И память этой осени дождливой,  
и жестяную серость облаков,  
и седину берёзки сиротливой,  
и ледяную сладость родников.

И долгим будет этот путь кремнистый.  
Несметный груз никто не облегчит.  
И всё ж однажды, невозможный, чистый,  
тот сладкий голос тихо зазвучит...

\* \* \*

Голос мне слышался птицы ночной.  
Ангел мой плакать устал надо мной.

Жил я в азарте бездумных утех.  
Ангел отмаливал каждый мой грех.

Счастья искал я, невзгоды кляня.  
Ангел прощенья просил за меня.

Сердце рвалось и скулило в крови.  
Ангел шептал мне во сне о любви.

Часто встречал я то рык, то оскал.  
Ангел в погибельных дебрях – спасал.

Птица ночная всё чаще кричит.  
Ангел мой горько и слёзно молчит...

\* \* \*

А сирень всё равно расцвела,  
несмотря на студёные ночи.  
Жизнь легко нас с тобой развела,  
но свести почему-то – не хочет.

Почему-то весна – холодна.  
Почему-то на сердце – усталость.  
А сирень под карнизом окна  
так цветёт, что обид не осталось.

То ль уйти не желает зима,  
то ли к нам не торопится лето...  
Наших суетных дней кутерьма  
светом первых свиданий согрета.

Пусть за днём истончается день  
и ничто нашей встречи не прочит...  
Но в холодные майские ночи  
дышит сладкой истомой сирень...

## МЕТЕЛЬ

Снег на Пасху. Метель и мороз.  
Я такого, пожалуй, не вспомню.  
И дождей было много и гроз,  
но метель...

Как ни странно, легко мне  
пережить эту брэнную новь,  
отрешиться от снега в апреле...  
Ведь Его неземная любовь  
нас спасает в этой метели...

## ПО ОНЕГЕ И ЛАДОГЕ

Как широка и высока Россия!  
И не по силам никаким штормам.  
Наш теплоход «Княжна Анастасия»  
На Север шёл навстречу холодам.

Искрились в Волге солнечные блики  
среди лесов, вдоль зелени полей...  
Да, мы за то зовем ее великой,  
что вся Россия отразилась в ней.

Смердит Европа в голубом дурмане –  
сдала в утиль достоинство и Крест...  
Но отовсюду прибыли славяне  
на Всеславянский теплоходный съезд...

Мне не спалось. Душа весёлой негой  
была полна, волнуя пульс в крови.  
Закат всю ночь клубился над Онегой,  
всю ночь над Свирью пели соловьи.

И пусть в Кижках гуляла непогода  
и ветер дул со снегом и дождём,  
и пусть опять карельская природа  
характер свой являла день за днем, –

из древних чёрных брёвен церковь Спаса  
над островом висела в облаках,  
и с чёрных досок свет иконостаса  
нас грел, продрогших, точно южных птах.

Когда борей безжалостный и дерзкий  
качал озёрных волн морскую ширь,  
нас привечал Кирилло-Белозерский  
и Александро-Свирский монастырь.

В тот час излишни были междометья,  
лишь удивленья блеск мелькнул в глазах.  
Нам рассказали: полтысячелетья  
лежит он здесь, молитвенник, монах.

За Русь веками молятся святые.  
И крышку раки открыли нам.  
А в ней лежали мощи, как живые,  
и приложились мы к живым мощам.

И сотворилось чудо: солнце вышло  
из серых тяжких приземлённых туч,  
и разлился над нами еле слышно  
звон колокольный с поднебесных круч.

Сияло солнце, лился звон небесный,  
златились яркой новью купола...  
Сказали нам: в такой же миг чудесный  
сюда однажды Божья Мать сошла...

В любом пути есть неземные знаки.  
И был священный остров Валаам,  
где возвышался монастырский храм,  
где сотни лет в трудах живут монахи.

Мы поднимались по крутым ступеням  
на самый верх ухоженной скалы.  
А монастырский сад дивил цветеньем  
среди дождливой и туманной мглы.

Как много чуда в мире и как много  
дано нам свыше знаков и даров!..  
Славянский съезд, славянская дорога –  
длинна, крута на сквозняке веков.

Но широка и высока Россия!  
Она – навеки дар бесценный нам.  
А теплоход «Княжна Анастасия»  
плывёт к своим славянским берегам...



## Поэзия

*Алексей ФИЛИМОНОВ*

### *По чёрному льду*

\* \* \*

Близ Чёрной речки поджидал Дантес,  
Там Натали снимала дачу другу  
Сердечному, а дале тёмный лес  
И вой волков на звёздную округу.

Ни полыньи в реке иль в небесах,  
Застыли сани у порога бездны,  
Он бесов разглядел в его глазах  
И осознал, что выстрел бесполезный

Врагу в ответ; взрывается метель –  
Из пушки грянули от Ниссельроде.  
И Пушкин возвращается отсель  
На небеса, слагая гимн свободе.

#### **СКИТАНИЕ**

Я жду с Тобой духовного свиданья,  
Мой белый скит унижен и закрыт,  
Крылами машет ворон в назиданье,  
Но явствен отклик в шелесте раки.

За ноябрём потянутся морозы,  
Земля остынет, воздух зазвенит,  
И тихо, не спеша рука берёзы  
Двумя перстами душу осенит.

#### **БРАТСКАЯ ВЫСОТА**

Нам отобрать у фрицев надо  
Ту высоту в борьбе упорной,  
Нам пулемёт заградотряда  
В затылок дышит смертью чёрной.

И мы идём непоправимо,  
Ползём, встаём, бежим куда-то,  
Огни мерцают в клубах дыма –  
В раю поминки по солдату.

Когда-то назовут героем,  
Земляк, – прости, я не заметил,  
Как ты, пронзённый тишиною,  
Небытия объятья встретил.

Ты – ангел, бой ведешь бессрочный  
Как прежде, высоту штурмуя,  
На кладбище, во сне проточном  
Сраженьё с вечностью рифмуя.

Здесь обезглавлены деревья,  
Окраина, скупое место,  
Порою различает зреньё  
Вас, приподнявшихся над бездной

Из-за ограды, над бетонным  
Тысячеглавым монолитом,  
И небо дымом застит чёрным,  
На этом свете не забытом.

## ЦЕХ

В гулком цеху, на окраине города злого,  
Практику я проходил, ученик ПТУ.  
Город притих, примеряя столетья обнову,  
Только завод проплывет, как старенький ТУ.

Столько ковалось, строгалось, лилось и точилось  
Стружек, металла, изделий, болванок и форм,  
Что наконец из меня самого получилась  
Груда чеканных изделий в эпоху реформ.

Дети и внуки рабочих, потомки ГУЛАГа,  
Асы слесарных, токарных, ремонтных работ,  
В них глубина, подозренье, презренье, отвага,  
Это и есть отрезвевший от пьянства народ.

Целые семьи сходили под свод преисподней,  
Даже подростки сгорали в аду от вина.  
Может ли быть пролетарий добрей и свободней,  
Шли после смены, шатаясь, и чья в том вина?

Помню, крутились в мозгу семена Мандельштама  
Там, где качель и сирени густые мазки,  
Так отпечатался стих среди смены упрямо,  
Шмель безымянный влетал от прохладной реки.

«Лучше уж бронь, чем пронизанный ветер афганский  
Злостью душманов, снарядами наших врагов».  
Вьюга зашлась в нескончаемой пляске цыганской,  
Позже сменилась на вальс неземных лепестков.

Друг продолжал: «Вот вернусь из пылающих домен,  
Сразу женюсь, стану жить и добра наживать».  
Цех подступает к обрыву, гремящ и огромен,  
В нём продолжает стихи некто в робе слагать.

\* \* \*

Тот человек в двадцатом веке,  
Своих стесняющийся фраз,  
Куда исчез он? Бродят веки  
Над яблоками чьих-то глаз,

На мир взирающих подлунный,  
Не узнающих ничего.  
Наш друг кочует в песне струнной,  
А здесь – лишь маска от него.

## ВЕЧНАЯ БЕЗДНА НЕЖНА

\* \* \*

Влюблённое сердце Спасителю радо,  
По-прежнему в мире царит неизбежность,  
Как прежде, душе бесконечность – отрада,  
И нежность, и нежность, и нежность, и нежность.

Так раньше в лесу, где гирлянды лисичек,  
Мне чудился немец в рассеянном встречном.  
Я гулом наполнен былых электричек,  
И вечным, и вечным, и вечным, и вечным.

Как в детстве, я с горки съезжаю отчизны,  
По чёрному льду, и судьба неизвестна,  
В ладонях со снегом и счастье, и тризна,  
И бездна, и бездна, и бездна, и бездна.

– А у меня теперь, представь,  
Душа другая.  
Ты улыбнулась, перестав  
Болтать ногами.

– Проникновенная душа,  
И христианка.  
Листва топорщилась, шурша,  
Под перебранку

Ворон на тополе седом,  
Любимом клёном.  
– Я просто растворяюсь в нём,  
В раю огромном.

– Так не жалеешь о былом?  
Фонарь, мерцающий,  
Просился в оживавший дом.  
– Сама не знаю.

\* \* \*

Модное станет немодным, лишь ключ повернётся  
Семьдесят раз и запустит по-новой деньки,  
Такт проржавевшей эпохи – забвеньё и отступ,  
И механизм запускается с левой руки.

Так-то и так-то, вне такта и где-то бормочет  
Кронос нездешний, и нас ускоряя, и сон.  
Морзе ли это прострочка, а может быть – прочерк,  
Пауза времени, с вечной стрелой в унисон?

Эхо дробит устремлённые к паводку взоры,  
Правда ль луна затопляет и время, и сны?  
Плечи нежны и ресницы лазурной Авроры,  
Яркой настолько, что ожили вены стены.

\* \* \*

Откуда донеслось – «Аве Мария»?  
Мы кирху миновали, может быть?  
Кружит снежок, и поляя Россия  
Не хочет в неизбежность отступить.

А, вон Христос – за окнами, в решётке,  
Пред ним стоят учёные волхвы.  
Доносится, размерянный и чёткий,  
Глас откровения от снов Невы.

Уже распят? Неведомое пламя  
Лизнуло крест пред нами и возшло.  
Мир окружён неверными стенами,  
Впитавшими отчаянье и зло.

И впрямь звучала музыка блаженства?  
Чья ария пред аркой взаперти?  
Отверженным бредёт женосвященство,  
Спасая душу истины в пути.

Проза

---

*Иван САБИЛО*

---



## КОРИФЕЙ И БУЛЬДОЗЕР

РАССКАЗ

Вовка Недогонов и Колька Мерзляков ещё со школы друзья. Один работает на экскаваторе-бульдозере, другой – маляром-штукатуром на стройке. У Вовки жена Шура – продавщица в обувном магазине. И двое сыновей пяти и шести лет, детсадовцы. Шура, у которой девичья фамилия Мухина, взяла фамилию мужа. У Кольки жена Катя – школьный секретарь. И второклассница дочка восьми лет, уже третий год занимается художественной гимнастикой. Катина девичья фамилия Королёва, и она ни за что не захотела стать Мерзляковой. «Ты в себе? – сказала она. – Чтобы и дети наши были Мерзляковы?!» Она специально убрала из Колькиной фамилии одну букву. Кольке это не понравилось. Но он любил Катю и согласился. А Вовка осудил его за такую вольность жены. И сказал, что теперь не он будет командиром в семье, а Катька. «Пускай командует, – сказал Колька, – я ей доверяю».

Два друга живут в небольшом пригородном посёлке, но видятся нечасто. Жёны считают, что их мужья на встречах не умеют себя держать, ибо крепко «закладывают за воротник». И запрещают. Друзья «для фасона» ворчат, но не протестуют, потому как понимают, что жёны правы.

Однако правил можно держаться не всегда, а лишь при определённых условиях. Вот и на этот раз, в середине лета Колька звонит Вовке и спрашивает:

– Чё делаешь конкретно?

– Дак собирался тебе звонить. Имею повод.

– Ужель один?

– От самого утра. Проводил Шурку-отпускницу с парнями на вокзал. Покатили они к бабушке Зое на месяц. Буду по выходным к ним наезжать. А сейчас, как говорится, вольный сокол.

В трубке долго не было слышно друга, но вот он снова заговорил:

– Вовка, закадыка! Не представляешь, как внятно ты это сказал! Я тоже один! Катюха с дочкой рванули на месяц в летний спортлагерь. Там её будут готовить на соревнования. И подумал...

– Молоток, правильно подумал. Давай так: я пригоню агрегат к себе на двор и куплю бутылёк. А вечером жду.

– Но зачем агрегат? Сегодня же суббота.

– Пока новый, не хочу оставлять на базе. Там кое-кто запчастями озабочен. Лучше возле дома.

– Логично. Считаю минуты, Вован, я тоже приволоку бутылёк! Ух, посидим!..

Вечером тонкий, длинношей и густоволосый Колька принёс и бутылёк, и сыру с колбасой. А крупный, широкоплечий, лысеющий Вовка наварил картошки с сардельками и накрошил целую тарелку огурцов с помидорами. Колька в школе самоучкой неплохо рисовал карикатуры на учителей и одноклассников. Смеялись, хвалили. Может, поэтому стал он строительным мастаком-маляром. А ещё как-то в девятом классе он доклад сделал про воду. В нём указал, что для цветущей жизни необходимы всего лишь три компонента – свет, вода и земля. «А воздух? – закричали ему. – Ты забыл ещё про воздух!» – «Будет вода – будет и воздух», – академично ответил Колька и стал для одноклассников Корифеем. А Вовку в школе за его рост и комплекцию, а также за неотступность во всём, что бы ни задумал, Бульдозером звали. Может, поэтому он и выбрал себе такую профессию.

– Однако что-то под вечер тучки наползают, и ветерок шалит, – Колька поднял указательный палец и прислушался. – Похоже, близится гроза.

– Отменно, – сказал Вовка. – Знаешь, как приятно посидеть в сухом доме, когда за окнами бушует дождь и ветер. И выпить немножко... супу.

– Супу? – захохотал Колька. – А может, и кефира?

– Тише, я так сказал для конспирации. Мало ли, Шурка жучок установила.

– Ну ты даёшь, – покачал головой Колька. – Впрочем, кто его знает. Сейчас везде камер понатыкано. Мы строим новый дом, так даже в лифтах устанавливаем.

– И это правильно. Чтобы неповадно было какой-нибудь скотине детей обижать.

– Давненько мы не сиживали, – сказал Колька. – Последний раз на Женский день, так?

– Ну, тогда-то не ахти. Под Новый год мы лучше гудели, помнишь? Сначала с детками, потом их спать отрядили. И до самого утра. Только не пели, детский сон берегли.

– Ничё, сегодня споём, если ты не против. Я вижу, теперь у тебя красненький агрегат?

– Ага, новый «Беларус». Потому на выходных и держу возле дома.

– Вот, на «Беларусах» ездим, а цены им на газ не снижаем.

– Да сколько можно снижать? У нас, как говорит руководство, свои национальные интересы.

– Руководство на Сирию и Донбасс миллиарды тратит, а с белорусами копейки считает. Как говорит мой сосед-доцент, досчитаемся до того, что захлопнется наше последнее окно в Европу.

– Ничё, у нас бульдозер. Если что, снова прорубим.

– Ну, тогда, конечно. Правда, у них тоже бульдозеры есть. Ещё доцент говорит, кто считает копейки в своём и в чужом карманах, тот ни судьбы государства не сделает, ни своей собственной. Толково говорит. И возразить нечего.



– Не слушай своего доцента, слушай меня. Дело вовсе не в копейках, а в том, что если мы с белорусами – Союзное государство, они могли бы поддержать Абхазию и Крым. А разве они это сделали? Но я уверен, что всё заровняется. Милые бранятся – только тешатся.

– Ладно, – махнул рукой Колька. – Закроем на время политику. Честно говоря, я бы тоже в частный дом переехал. Чтобы как у тебя: садик, огородик. И сирень по весне.

– Дак нет проблемы. У меня сосед Крепкин прошлый год на погост перебрался. Внук Григорий дом продаёт, уже всё нужное вывез.

– Я бы хоть завтра, но Катерина не хочет. И дочка всегда на её стороне. Что-нибудь ей скажешь, например, пойдти умойся, так она в ответ: «Не буду, я с мамой не посоветовалась».

– Мои тоже за юбку держатся. Думаю, временно. Старший сын уже теперь больше трактором интересуется, чем домашними цацками. Скоро на курсы трактористов направлю.

– Ну, до этого «скоро» вам топать и топать. А пока что наши детки при мамочках, будто приклеенные.

– А где ты видел, чтобы цыплята петуха держались? Или телёнок за быком бегал?

– Умные твари. За жизнь держатся. А тех, кого мать-природа умом не наделила, вымерли. Мамонты всякие, динозавры и прочие ящеры, – Колька в задумчивости почесал нос и добавил: – вот и с нами такое будет, если дело до атома дойдёт.

Вовка разлил водку по рюмкам, поднял свою:

– Давай за детей. Я бы тоже хотел девочку.

– Старайся. Девочки требуют более филигранной работы. Я внятно говорю? – рассмеялся Колька и стукнул своей рюмкой о Вовкину.

Стали закусывать.

– У меня торчит приёмник в «Беларусе», – сказал Вовка. – И какой только хрени по нему не услышишь. И всё о политике, о злодеях. Нет, чтобы про какого-нибудь учёного рассказали, про воспитательницу детского сада. Чтобы душу потрогало, а тут...

– Скажи, приёмник твой выключается? – поинтересовался Колька, накладывая себе картошку из кастрюли.

– Ну да, а что?

– Выключил, и дело с концом.

– Я ж не про это. Я про то, зачем они людям головы дурят всяким вздором. Зачем мне знать, что где-то на Дальнем Востоке девчонки-малолетки укоротили жизнь пятнадцати кошкам и собакам? Про что человек должен думать, наслушавшись такой хрени?

– Идеи нет, – сказал Колька и сам налил. – А без нормальной идеи мы вообще форменные кроты незрячие. Даже мельче. Такое моё отчётливое понимание. Ну, давай!

Они снова приняли. Вовка спросил:

– И какая же твоя нормальная идея? Вот, к примеру, ты по взмаху волшебной палочки стал главарём государства. И тогда что ты скажешь мне, народу? Есть что сказать?

– Вестимо, я не раз и не два думал об этом. Прежде всего, наградил бы каждого человека нашей страны, взрослого и ребёнка медалью. Или даже орденом за преодоление трудностей. Никто в мире не преодолевает столько трудностей, сколько мы. Второе, приказал бы поднять производительность труда... Чё ты ухмыляешься?.. Я ведь вижу, как один-двое работают, а пятеро-шестеро курят и балду варят. Или вообще ни хрена не делают. Это два. И три – чтобы в магазинах были чистые продукты, а не отравы. Мы ж не фальшивыми деньгами расплачиваемся, а заработанными, так? Тогда почему нам фальшивый сыр продают или водку? Ты видел, сколько сейчас бочкообразных баб и мужиков по городу и по нашему посёлку ходят? Это ж они от продуктов такие.

– Всё?

– Пока всё. А там видно будет.

– Что ж, ясно. Валяй в президенты, я буду голосовать за тебя, – сказал Вовка и снова налил.

– Вот ты хохмишь, а я тебе конкретно скажу: если в ближайшие два-три года не внедрят у нас хотя бы мало-мальский порядок, снова рухнем. Потом опять с большим трудом станем выкарабкиваться. Как это уже бывало. И никаких захватчиков не надо. Ты посмотри на наше правительство. Чего можно ждать от него? При том, что почти все их детки учатся по заграницам. А многие уже выучились и там живут. И нас презирают. Скажи, чего нам ждать от таких деток?

– Ладно, не забивай себе голову. Может, их на самом деле полезней там держать, нежели здесь. Но теперь я понимаю Катьку и Шурку. Они даже не столько выпивки нашей не терпят, сколько наших баляс. Однако наливай.

– Подожди с «наливай». Вот смотри. Ты за десять лет, что вкальываешь экскаваторщиком, какую гору земли наворотил! Если в кучу собрать, небось, Эверест переплюнул, да? А я за то же время сколько домов в городе и посёлке отгрохал? Кто подсчитает?

– Ну, мы ж не так, а под зарплату...

– Вот, под зарплату! А сколько дундуков получают зарплату, палец о палец не ударив? И какую! Нам с тобой и не снилась.

– Всё, Николай Максимыч, вы меня убедили, – Вовка хлопнул друга по плечу. – Быть вам президентом. Вы целиком созрели для такой должности. Логично? А если возьмёте меня в советники, то первое, что я вам подскажу: наливайте.

После четырёх-пяти рюмок и плотной закуски Колька, подперев кулаком щёку, посетовал:

– Как нам, Вова, теперь не хватает простого застольного шлягера. Внедрим?

Долго искали, какой выбрать. Наконец, по Колькиному совету пришли к единому мнению, что раз их жёны имеют такие красивые имена, то и шлягеры должны быть про них.

– С какой из них начнём? – ясно взглянул на друга Вовка.

– Какая разница? С любой.

– Хорошо, тогда по алфавиту. Хочешь, «Александр»?

– В «Александре» я только припев знаю, – сказал Колька.

– С припева и начнём.

– Александра, Александра, этот город наш с тобою, – запели они во весь голос, но Колька прервал:

– Знаешь что? Давай петь не «*этот город*», а «*тут посёлок*». Чтобы душевнее было.

– С чего ты решил, что посёлок душевнее города? Видел, как он сейчас красиво освещён!

– Ага, искусственным светом. Из-за него звездного неба не видать. Не то что у нас.

– Ладно, давай.

*Александра, Александра, тут посёлок наш с тобою,  
Стали мы его судьбою – ты взглядишь в его лицо.  
Что бы ни было вначале, утолит он все печали,  
Вот и стало обручальным нам Садовое кольцо.*

Но Колька не удовлетворился и переиначил:

*Вот и стало нам венчальным деревянное крыльцо.*

Они рассмеялись от удовольствия и хлопнули в ладоши. Снова приняли по рюмке и принялись за «Катюшу».

– Ну, такую песню надо петь отчётливо и стоя, – предложил изрядно захмелевший Колька.

– Можно стоя, – с шумом отодвинул стул Вовка и поднялся.

Оба знали эту песню целиком и спели до конца.

И снова чокались, но уже почти не закусывали – некуда. А тут и наливать перестали – кончилась беленькая.

– М-м-жаль, – сказал Колька. – У меня, п-пред-дстаффь, ни в одном глазу.

Вовка посмотрел другу в глаза, после на мобильнике время – половина двенадцатого.

– И магазин давно закрылся, – вздохнул он. – Может, к Петру Валерьянычу за прицепом?

– Хэх, опоздал, брат. Петра Валерьяныча менты перед майскими прихватили. И закрыли его шайку-лейку. Ещё хорошо, что не заковали.

– Откупился, видать. Он самопальное дело поставил на широкую ногу. Знать, было чем.

– Но качество держал, этого не отнять. Никто и никогда не кляузничал на его чемергес.

В это время окна озарила молния, в доме на миг припогасли лампочки. Но тут же снова зажглись – и как будто ярче, нежели прежде. Ударил гром, хлестнул дождь, и по стёклам побежали косые ручьи.

Колька прошёлся по комнате, остановился у окна. Вовка смотрел в его узкую, длинную спину и думал о том, как невовремя прервалась их такая долгожданная встреча. Где ещё можно добыть двадцать капель? И всего-то надо по чуть-чуть, так сказать, отходную ко сну. Благодаря нетрезвости, мысль работала неослабно и как будто приближалась к открытию. Да! Вот же выход! Почему сразу не осеңило?!

Он вспомнил, как прошлогодней зимой хоронили пожилого соседа Ардальона Крепкина. Тот часто прикладывался к рюмке и, несмотря на это, прожил восемьдесят восемь лет. На кладбище его городской внук Гришка сказал: «Мой родной дед Ардальон Викентич Крепкин любил выпить, это все знают. Пускай же и нын-

че с ним останется его верная подружка». И вслед за гробом опустил в могилу бутылочку «Столичной».

Кто-то из женщин стал возмущаться: мол, такое не принято, это, мол, не по-христиански. А мужики только вздохнули и стали усердно работать лопатами.

– Колян, а хочешь, я добуду на посошок?

– Не шути, Вова, это жестоко.

– И не собираюсь. Могу даже на спор.

– На что?

– На что хочешь. Можем на деньги.

– Нет, денег я с тебя не возьму. Нужно что-нибудь такое, чтобы запомнилось.

– Тогда подумай.

– Ну, если только на билеты в цирк. Хотя, ты, брат, слегка того, коль споришь, когда невозможно выиграть. К тому же, ливень, гроза. Бр-р-р!

– Зато в любом случае сходим с тобой в цирк. Наши приедут, а мы им такую сенсацию. Вот ахнут!

– Что ж, лады. Если так, почему не сходить?

Они ударили по рукам.

– Не ложись, я по-быстрому.

Вовка вихрем взметнулся из дому. Сел в трактор и покатил за посёлок. Вскоре въехал на неогороженное кладбище, быстро отыскал могилу Крепкина – та пока ещё на краю. Где-то над городом сверкали молнии, и погромыхивал отдалившийся гром. Под неослабевающим дождём Володька снял с покатога холмика старые бумажные цветы и венки и перенёс их на траву. Вытащил деревянный крест, положил в соседнюю борозду и приступил к работе. Вскрыл могилу ковшом и при свете фар увидел бутылку.

– Ай-ай! – по-детски обрадовался он и ковшиком бережно поднял её наверх. Обтёр ветошью мокрое лицо, потом бутылку и поместил её в карман изрядно вымокшей ветровки. Не теряя времени, засыпал могилу отвалом, подровнял её короткой сапёрной лопатой и установил крест. Постарался выпрямить примятую колёсами трактора траву и вернул на прежнее место цветы. И тут шквалистый ветер ударил Вовку в грудь, да так, что чуть не опрокинул его навзничь. Еле удержавшись на ногах, он поклонился кресту и тихо сказал:

– Прости, дедушка Ардальон, больше не будем.

Переступив на месте мокрыми кроссовками, вполз в кабину и погнал обратно.

Ещё издали он увидел свет в окнах своего дома и прибавил скорости. Въехал во двор, закрыл ворота и поднялся по крыльцу. На удивление, Колька смиренно дождался за столом. А когда Вовка вошёл, почти трезво спросил:

– Конкретно, когда наш цирк?

– Конкретно, купишь билеты, и пойдём, – сказал Володька и с грохотом выставил бутылку.

Наверное, минуту Колька смотрел на неё, ничего не говоря. Потом спросил, отчего она как будто мурзатая? Встал, помыл её под умывальником и снова поставил на стол.

– Открывай, гроза ушла.

– Сам открывай, тебе такая честь. Как ты смог? А главное, где?

– Надо знать грибные места, – важно сказал Вовка и принялся отвинчивать пробку. Удивился, что она совсем легко подалась под пальцами и отошла без девственного хруста. – Отсырела, наверно, больше года прошло, – неуверенно сказал он.

– А тебе не кажется, что она какая-то мутная? – спросил Колька.

– Ф-фу, а вонючая! – поднёс горлышко к носу Володька. – Ай да Гришка, ай мерзавец! Этот аспид вместо водки... Ну и гнида! А ещё с таким форсом бутылку опускал.

– Что, Вова? Какой Гришка?

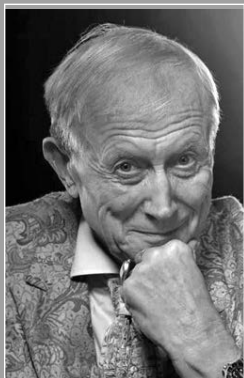
– Да городской внук моего соседа Ардальона Крепкина. Когда его хоронили, он в память дедовой страстишки бросил в могилу бутылку. Якобы водки. На самом же деле водку выцедил, а налил воды. М-мерзавец жёваный. Его дед за это не простит.

– Вова, а может, не он? Может, кто уже до тебя втихаря её выкопал и поменял?

– Не говори, Коля, чепухи. Не такой у нас народ, чтобы так. На такое лишь городские черти способны. А ты и ему повесишь на грудь медаль за преодоление?

Колька обнял друга и ласково, но победительно сказал:

– Ох, Вова, ты себе даже не представляешь, как отчётливо хочется в цирк.



## Чтобы помнили

---

*Евгений ЕВТУШЕНКО*

---

### ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

К творчеству одного из самых «громких» поэтов двадцатого века Евгения Евтушенко власти предрержащие, словотворцы и даже читатели относились по-разному. Одни считали его выскочкой, упрекая в неискренности поэтических чувств, другие завидовали непомерно растущей славе...

Неумолимо время, где в течение более полувека бурно расцветал талант поэта, прозаика, публициста, артиста, переводчика, общественного деятеля Евгения Александровича Евтушенко, который прочно занял одно из первых мест в отечественной литературе. Подлинный поэт – пророк, думающий о судьбе Родины и о своем месте в ее истории. Это подтверждают его последние стихи:

Не легенды о нас – это были,  
и легенды всех сплетен сильней,  
так за что нас так люди любили,  
если мы не любили людей?

Легендарный автор предчувствовал конец свой земной жизни, поэтому родились пронзительные строки:

Все монеты звучат выжидающе –  
на глаза мои прыгнут вот-вот,  
и хотелось бы выше,  
дальше,  
да могила ждёт...

Евгений Евтушенко ушёл в бессмертие, оставив потомкам огромное наследство – свою поэзию!

*Аршак Тер-Маркарян*

## *А бессмертия мне не надобно!*

\* \* \*

Все монеты звенят выжидающе –  
на глаза мои прыгнут вот-вот,  
и хотелось бы выше,  
дальше,  
да могила ждёт.  
Как бы договориться с могилою,  
объяснить, что я занят,  
пока  
ещё делаю глупости милые,  
ещё пишет рука.  
Развращает идея бессмертия.  
Мы не ценим отпущенных крох,  
но, к несчастью,  
есть нечто последнее –  
взгляд,  
вздых.  
Не был выродком я рядом с выродками,  
но ведь стыдно-то будет как,  
если слово последнее выроненное –  
так,  
шлак.

Проповедничал я  
лишь по слепости.  
Смерть,  
ты за руку ввысь поведи  
до вершины прозревшей последности –  
горней исповеди!  
Я люблю все, что Господом дадено, –  
даже каждый божественный грех,  
а бессмертия мне не надобно,  
потому что оно –  
не для всех.  
Из народа оно меня вытеснит.  
От бессмертия,  
будьте добры,  
упасите,  
как от правительственной  
слишком липкой икры..

### **НЕТ В ИСТОРИИ ТОЧКИ**

*Машеньке*

Не словами – глазами меня пристыдила,  
догадавшись, что я  
примирился со смертью почти,  
и глазами ты к жизни меня присудила,  
будто выдержнув из крематорийной  
нежно запевшей печи.  
Смерть, когда ей сдаёмся, –  
предательство нами любимых  
и предательство нами детей,  
в ком от предков неведомых нить.  
Позволительно думать о смерти  
как лишь об одной из слабинок,  
той, которую сможем  
когда-нибудь и отменить.  
Ощущаю губами,  
как жилка на горле пульсирует нежно под кожей  
и щекочет щекою пушок золото-золотой.  
Нет в истории точки,  
а лишь запятая, похожая  
на девической шее твоей заблудившийся завиток.

**ПОСЛЕ ФИЛЬМА «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ»**

Я боялся этого фильма.  
Наша молодость не была  
ни двуличной, ни простофильной.  
Но всего изменить не могла.  
Я сначала был сентиментален  
и растроган игрою Чулпан,  
Но у нас был враг общий – Сталин,  
ну а вышло, что пьяный туман.  
И по фильму всему расползались,  
в нас трусливенькое находя,  
к поколению нашему зависть,  
страх невидимого вождя.  
Я, оказывается, от Хрущёва  
Неизвестного не защищал.  
И Андропов меня прощённо  
политически просвещал.  
Режиссёра находки «бесценны»,  
уж простите, что виноват.  
Вознесенского я со сцены  
так по-дьявольски спихивал в ад.  
Сценарист, где же ваша совесть,  
даже Беллу, и ту очерняя?  
Ну зачем после смерти ссорить  
вы хотите с любимой меня?  
Не писал ни «Бабьего яра»,  
ни «Наследников Сталина» я?  
Мы – растратчики божьего дара,  
мы – тусовщики, а не семья?  
Все мечтают пережениться,  
и, тихайшенький старичок,  
бродит, смиренный такой, Солженицын,  
словно комнатный хомячок.  
Мы в цензуре – в жестокой люльке –  
вырастали, её разломав.  
Ну а в фильме сплошные танцульки.  
Где же весь наш рискованный размах?  
Где гражданская наша отвага?  
В фильме все мы из мелких бузил.  
В пиджаке из кубинского флага  
перед Кастро я так лебезил.  
Но легенды о нас – это были,  
и легенды всех сплетен сильней.  
Так за что нас так люди любили,  
если мы не любили людей?



### ПАМЯТНИКИ НЕ ЭМИГРИРУЮТ

Не был мошенником, пакостником,  
гением тоже навряд,  
да вот придётся быть памятником –  
редкий я фрукт, говорят.  
Горькие или игривые  
сыплют вопросы подчас:  
«Правда, что вы эмигрировали?  
Что же вы бросили нас?»  
Где мне могилу выроют?  
Знаю одно – на Руси.  
Памятники не эмигрируют,  
как их ни поноси.  
Как я там буду выглядеть:  
может, как Лаокоон,  
змеями сплетен и выдумок  
намертво оплетён?  
Или натешатся шутками,  
если, парадный вполне,  
стану похожим на Жукова –  
грузом на слонюконе.  
Маршал, не тошно от тяжести,  
свойственной орденам?  
Лучше пришлись бы, мне кажется,  
вам фронтовые сто грамм.  
Наши поэты – не ротами,  
а в одиночку правы,

неблагодарную Родину  
тоже спасали, как вы.  
Но не напрасно громили мы  
монументальный быт.  
Мраморными и гранитными  
нам не по нраву быть.  
В центре застыв прибульваренно,  
Высоцкий – он сам не свой,  
слеplенный под Гагарина,  
оперный, неживой.  
Сколько мы набестолковили.  
Даже Булата, как встарь,  
чутьочку подмаяковили.  
Разве горлан он, главарь?  
Сверстники-шестидесятники,  
что ж мы сошли насовсем,  
смирненько, аккуратненько  
на пьедесталы со сцен?  
Сможем и без покровительства,  
бремя бессмертья неся,  
как-нибудь разгранититься  
или размраморниться.  
Не бронзоветь нам ссутуленно,  
и с пьедестала во сне  
Беллочка Ахмадулина  
весело спрыгнет ко мне.



ПрозА

---

*Анатолий МАТВИЕНКО*

---

*Анатолий Евгеньевич Матвиенко родился 7 июля 1961 г., живёт в Минске. По образованию юрист, кандидат юридических наук, член Союза писателей Беларуси. Автор 15-ти книг в жанре фантастики, нескольких книг нон-фикшн, десятков сценариев документально-игровых фильмов военно-исторической тематики. Описанные в повести события послужили основой для фильма об авиации Северного флота СССР в годы второй мировой войны, поставленного по заказу российского телеканала «Звезда» в сериале «Хроника Победы».*

## ВАЕНГА-ЭЙР

ПОВЕСТЬ

ПРОЛОГ

Тундра взорвалась зелёным. Казалось, зацвели сами камни. Среди этого буйства наметилось многоцветие лишайников, кое-где пробились лиловые метёлки иван-чая. Под застенчивым солнцем заполярного лета зелень пыталась поймать каждый лучик, каждую толику тепла, пока не приблизилась осень. Тогда равнины Севера вспыхнут всеми цветами радуги и скоро погаснут, до мая закутавшись в белое.

– Красиво! Правда. Но дома лучше. Мама, а когда мы поедem домой?

Дома – это в Беларуси. Там солнце не дразнится круглые сутки, оно светит днём – жарко и ласково. Там пылью пахнут дорожки, поляны – цветами, а лес – грибами. Там деревья тянутся ввысь, а не кривятся у земли. Игорёк родился на Витебщине и совсем не хотел уезжать.

– Наш дом теперь здесь. Ты же знаешь, у военного он – где служба. И ты, мой маленький солдат, тоже скоро вырастешь...

– Буду как папа – лётчиком! Сталинским соколом!

– Обязательно. А теперь пошли. Папа вернётся с аэродрома, приготовлю что-нибудь вкусненькое.

Погода испортилась. Форточка в небесах, пропустив скудную долю солнечных лучей, плотно затворилась среди туч. Ветер срывал косынку с головы женщины, обнажая русые косы. Высокая и статная, она была чужой для этого края, как и её сынишка, с любопытством озирающийся в тундре, пока пустынные пейзажи не начнут навевать тоску.

Они вернулись к военному городку с романтическим названием Ваенга, что прилепился на южном берегу Кольского залива. Здесь – как и везде – неожиданный вызов мужа на аэродром был делом обычным. День не лётный, значит, Боря вернётся быстро. И семья проведёт вместе несколько часов, выходной всё-таки.

Так для Сафоновых начиналось воскресенье двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года...

## Глава первая

### КОМБРИГ

Пятью годами ранее, в Витебске, на улице Безбожной, своим именем взывавшей к торжеству материализма, в события вмешалась высшая сила. Иным способом не объяснить случившегося чуда: молодой лётчик-истребитель Боря Сафонов оказался за одним столом с самим Ворошиловым!

Сначала под окном затормозил большой автомобиль, через считанные секунды в квартиру Смушкевичей нагрянул военный, обязанный проверить – всё ли в порядке перед неожиданным визитом полководца. Пока матёрый командир авиационной бригады стоял перед молодым порученцем навтыжку, Борис взмолился:

– Бася! Есть здесь второй выход? Не через окно же пикировать!

Чернявая красавица – жена комбрига – упёрла руки в бока.

– Так и не присев за стол, бежать надумал? Ой вей, гость нашёлся... – видя колебания робеющего красного сокола, мадам Смушкевич загородила телом путь к отступлению: – Не тушуйся, Бора. У Яши с Климом ещё с гражданской...

Если первый красный маршал и ощутил досаду, что во время его визита здесь болтается посторонний лётчик, при котором, естественно, не будешь особо откровенным, то виду не подал.

Сели, налили, опрокинули по первой.

– Хорошо тебе, Яша... Тихая провинция, служба не в тягость, вон – Бася Соломоновна хлопочет, с мужа пылинки сдувает...

Бригадирша разулыбалась, вспомнила вслух жену Ворошилова, попросила передать ей привет, но явно попала мимо цели. Маршал нахмурился. Видно, между ним и супругой пробежала чёрная кошка.

Ситуацию спасла Фаина Моисеевна, тёща Смушкевича, когда подала на стол «гефилъте фиш», а Яков сказал высокому начальнику:

– Отведай, товарищ нарком! Такую и в московских ресторанах не подадут. Только в провинции...

Сафонов отщипнул крохотный кусочек и тут же был наказан: Бася навалила ему полную тарелку фаршированной рыбы. Однако толком вкусить наказание успел. Комбриг одним движением бровей намекнул: проваливай!

Торопливо умяв угощение, лётчик объявил о неотложном деле и отчалил, бодро козырнув. О чём судачили над останками рыбы нарком и комбриг, ему, рядовому пилоту, знать было не положено. Но кое-что Смушкевич поведал.

Стоял пыльный июль. Летали каждый день. И комбриг в 106-ю эскадрилью заглядывал тоже практически каждый день. Однажды подозвал к себе Сафонов, когда тот вылез из открытой кабины истребителя с двуцветием на широком лице: кожа, не защищённая шлемофоном и лётными очками, слегка потемнела.

– Помнишь, Борис, рыбку моей тёщи? Ворошилов тоже не забыл. Прислал в подарок сервис на двенадцать персон!

Почувствовав неофициальность в тоне комбрига, Сафонов заулыбался.

– Помню, Яков Вольфович! Только доесть не дали.

– Уж извини. Нарком кое о чём говорил, для твоих ушей не предназначенном, – Смушкевич неторопливо шагал к стоянкам соседней эскадрильи. Сафонов, на голову выше и намного шире в плечах, шёл рядом, приминая сапогами зелёную траву. – Вышло спокойное время, Боря. Или в Европе, в той же Испании, или японцы на Дальнем Востоке, но вот-вот где-то полыхнёт.

– Ясно, Яков Вольфович...

– Владимирович, – поправил Смушкевич. – Переведут меня скоро. Ворошилов прямо сказал – меняй отчество.

В разговоре на минуту возникла пауза. Слышались только звуки шагов да звон авиационных движков. Комсомолец Сафонов вырос в убеждении, что в СССР все нации равны, все дороги открыты... А теперь командиру лучшей авиационной бригады округа придётся менять отчество, чтобы скрыть еврейское происхождение?

Но два года, проведённые на службе, научили житейской премудрости – иногда лучше держать язык за зубами и не высказываться с комсомольской прямоотой.

– Я тебя с самого начала выделял, – продолжил комбриг. – Талант, он с младых ногтей виден. Буду тебя рекомендовать на продвижение. Помни, о чём с тобой говорили, – о построении парами, как немцы в империалистическую, об атаке от солнца, от ведущего не отставать, ведомого не терять...

– Так точно! Яков Воль... Яков Владимирович! Если полыхнёт, так замолвите словечко – не на продвижение, а на передовую. С вами!

– Отставить! – неожиданно резко обрезал тот. Продолжил мягче: – Поверь умудрённому в жизни еврею – нельзя совать голову в пекло, пока не обзавёлся детьми. За тобой тысячи, ушедшие в землю, лишь бы ты появился на свет... Понимаешь?

– А я думал – бобылю проще. Жену с дитём одних не оставлю, если что...

– Плохо думал, Борис. Надо не о «если что», а о светлом будущем, которое мы построим. Или построят после нас. Кто в этом будущем жить будет? Во-от! Есть на примете кто? Бабы за вашим братом – молодыми летунами – косяками носятся.

Сафонов чуть смутился.

– Ну... есть, конечно. Только гордая слишком. Считает лётчиков ветренными. Евгенией зовут.

– Женя? Хорошее имя. Коль надумаешь всерьёз – веди к нам. Теща научит «гефилъте фиш» готовить.

– Есть «гефилъте фиш» готовить! – не слишком бойкий на язык, Борис смешался. – В смысле, сначала готовить, потом есть. Разрешите писать рапорт?

Потому что невесту красного командира полагается до росписи долго и тщательно проверять: не из «бывших» ли её родители, а то вдруг родственники остались в западной части страны, под белополями. Да мало ли что...

Рапорт Сафонов подал, и комиссар бригады объявил, что партия выбор одобряет. Но в остальном случилось иначе.

Смушкевича забросило в Испанию, потом на Халхин-Гол, летал он и над Карельским перешейком. Сафонов рвался в бой, но начальство не вняло мольбам, пилот-истребитель по-прежнему отсиживался в тылу. А повышение состоялось с переводом в Заполярье.

Обустроившись, перевёз туда и семью.

Однажды, это была середина июня, в штабе авиации Северного флота он случайно услышал обрывок разговора. Командующий авиацией сквозь зубы прорычал на командира бомбардировочного полка:

– Не борзей! Ещё схватят тебя, как Яшу Смушкевича...

Борис постарался не выдать своих чувств. В приёмной толпилось до дюжины офицеров, никто больше не уловил эту фразу, просочившуюся через неплотно прикрытую дверь. А Сафонова натурально вогнало в штопор...

Не может быть!

Яков Владимирович – дважды Герой Светского Союза! Друг самого Ворошилова!

Невольно вспомнились маленькая, но удивительно солнечная и уютная квартира на улице Безбожной, рюмка водки в руке наркома, а ещё сервиз на двенадцать персон...

Потом всплыло в памяти другое. О парном построении, об атаке от солнца, используя высоту, о взаимодействии... Вся накопленная премудрость учителя.

Лётчик тяжело вздохнул. Если завтра война, то впереди себя в линии полка Сафонов предпочёл бы видеть многоопытного Смушкевича или кого-то другого из испанских ветеранов.

И через неделю действительно пришла война.

## *Глава вторая*

### **БОРИС**

Одинокий истребитель И-16, именуемый в народе «ишак», из последних сил тянул над тундрой. Тупорылый самолёт с красными звёздами качался из стороны в сторону – лётчик едва удерживал его от падения. Немецкому пилоту в кабине «мессершмитта» русского было даже немного жаль. Высота малая, метров сто, на прыжок с парашютом не хватит, и в Ваенгу не добраться, а внизу сплошные камни – не жилец.

Чтобы получить полоску на киле о победе – абшуссбалкен, надо стрелять. Это будет удар милосердия. Палец в перчатке лёг на кнопку.

Истребитель Vf-109E «эмил» выровнялся в двух сотнях метров от жертвы, когда случилось неожиданное. Советский самолётик с непостижимой быстротой выпрыгнул из прицела в глубоком вираже. Чёрный дым бесследно исчез. В наушниках прозвучал панический крик ведомого...

Через четверть часа тот же «ишак» зарулил на стоянку. Вместе с механиком у самолёта оказался лейтенант Кухаренко, севший на полчаса раньше. Сафонов спрыгнул с крыла и устало стащил с головы потный шлемофон.

Кухаренко колупнул пальцем чёрную сажу на боку фюзеляжа. Копоть неумолимо подтверждала: отважный до безумия лётчик снова провернул запрещённый трюк. Он выставил из кабины горящую промасленную ветошь, чтобы враг принял истребитель за подранка.

– Ты что творишь, командир?! «Ишак» сгореть же мог...

– Лёша, ну как по-другому «мессера» поймать? Не догонишь же. А так они сами в прицел лезут.

Лейтенант пожал плечами. Отчитывать командира, тем более в присутствии техника, было совсем не уместно, даже с учётом некоторой демократичности военно-воздушных сил по сравнению с сухопутными.

– Борис, смотри! Кузнецов идёт... Факт – по твою душу. Вот сейчас за подвиги взгреет! Фрица-то хоть завалил?

– Шут его знает... – широкий лоб Сафонова перечеркнула задумчивая складка. – Врезал крепко ведомому. Дым пустил, но, зараза, в облака шмыгнул. А дотянул до аэродрома или спёкся по пути...

Он расстроено махнул рукой. Тем более не удалось догнать ведущего. Советские истребители маневренные в вираже, но по скорости с «эмиями» им не тягаться.

Стараясь не пачкать сапоги в грязи – в августе дождливые дни выпадали чаще сухих, – к стоянке эскадрильи приблизился генерал Кузнецов, командующий авиацией Северного флота. С ним прибыли два незнакомых офицера. При виде начальственной когорты Сафонов натянул шлем и козырнул:

– Здравия желаю, товарищ генерал-майор.

По тому, как неохотно командующий приподнял ладонь к фуражке, было заметно – он не в духе.

– Опять своевольничаете?

Сафонов вытянулся по струнке. В армии всегда так – тебя в чём-то обвиняют, а ты даже не знаешь, какой из грехов выполз наружу именно сегодня. Но пререкаться с генералом, тем более в присутствии посторонних, было явно не благо-разумно.

– Так точно, виноват.

– Что «мессера» сбил – хорошо. Но твой анархизм мне уже вот где сидит! – для доходчивости генерал провёл ладонью у горла.

Краем глаза Сафонов заметил радость на веснушчатой физиономии Лёши Кухаренко и сам едва сдержался, чтоб не разулыбаться на все тридцать два. Раз Кузнецов сказал про сбитога, значит, наземные подтвердили: грохнулся тот фриц!

– Что-то случилось, товарищ генерал?

– Дело хотел тебе поручить, очень ответственное. Сейчас сомневаюсь.

Из-за спины невысокого генерала строго уставились две пары глаз. Так неподкупно и сурово глядят товарищи, наделённые особыми полномочиями. Сафонов никогда не стремился к плотному с ними общению. Неужели задание связано с особистами? На войне службу не выбирают, и он сказал то, что должен был:

– Не подведу, Александр Алексеевич.

– Посмотрим... У меня приказ из Москвы – сформировать авиационный истребительный полк на английских самолётах. А тебя предложил командиром.

– На английских?! – вякнул от неожиданности Кухаренко, но генерал не обратил внимания.

– Через неделю на Ваенгу прилетит английское крыло, полк, по-нашему. Передадут «харрикейны». Воевать на них научат.

– Этому мы и сами кого хочешь научим, товарищ генерал-майор, – снова встрял Кухаренко, заслужив толчок локтем Сафонова. Мол, совсем краёв не видишь, язык на узде не держишь, тем более – в присутствии орлов из Особого отдела.

– Отставить самоуверенность, товарищи красные командиры! – одёрнул их Кузнецов. – После Испании и мне казалось – любого с неба сниму. Гляди, как вышло... Давят нас!

– Выстоим, – заверил Сафонов. – Товарищ генерал, разрешите? Так что с англичанами?

– А вот сам и спросишь.

– Виноват! Я по-английски только «шпрехен зи дойч» помню...

– Ну, тут за тебя умные люди подумали. Знакомьтесь, товарищи летчики.

Из-за спин двух «умников», так Кузнецовым и не представленных, выпорхнула миленькая чернявая барышня лет двадцати – двадцати двух в лёгком синем пальто и белой вязаной беретке с игривым помпоном.

– Мира! – представилась она и протянула ухоженную ручку для пожатия обоим пилотам. Сафонов чуть прикоснулся к пальцам девушки, Кухаренко задержал их в своей лапше на едва заметную долю секунды.

– Капитан Борис Сафонов.

Кухаренко расцвёл так, будто это он уговорил «мессера».

– Меня можно просто – Алексей.

– Никаких мне «просто», – одёрнул генерал под молчаливый аккомпанемент двух офицеров. – Улыбочки и заигрывания отставить. Мира – переводчик, по рекомендации ЦК комсомола. А вы, Мира Соломоновна, построже с нашими героями.

– Есть, товарищ генерал! – она шутливо козырнула, бросив ладонь к беретке.

Кузнецов увёл Сафонова. Генеральский баритон понемногу удалялся, не прекращая вещать о трудностях появления союзников на сверхсекретном военном объекте, так как эти союзники, нельзя забывать, прибывают из классово чуждой страны, управляемой угнетателями трудового народа. Кухаренко моментально догадался, что длинная речь о возможных происках империалистов предназначена не Борису, а приедем, и обрушил залп всех своих пушек на переводчицу.

– Пока англичане не налетели, позвольте, товарищ Мира, я введу вас в курс дела.

– Отчего же не он, старший по званию? Видный такой из себя – Герой Советского Союза.

– К Борису жена и сын прибыли из Белоруссии, ему неловко будет с вами, молодой и красивой. Тем более жена у него тоже первый сорт. И ревни-и-ивая...

– Я не привыкла давать повода для сплетен, товарищ Алексей, – её пробило на улыбку, совсем не соответствующую строгому смыслу слов.

– Одно ваше появление в закрытом гарнизоне зарядит местных сплетниц на неделю вперёд, какая там война... И хотя вам, наверно, не полагается гулять по

секретному аэродрому, но я разрешаю и покажу наших птиц, на которых сталинские соколы покоряют синее небо...

Получив накачку от генерала, Сафонов вернулся к эскадрилье. Оставшиеся в строю «ишаки» жалобно раскрыли капоты, в машинах копались техники и оружейники. Рослая фигура Кухаренко на две головы возвышалась над мелким силуэтом переводчицы. Её яркое лёгкое пальто среди тёмных и блеклых красок аэродрома смотрелось вызывающе цивильным. Лёша расставил руки в стороны наподобие крыльев и что-то бойко рассказывал, Мира смеялась. Капитан неодобрительно покачал головой.

Вечером красным соколам предстоял разбор дневных полётов у командира полка, не менее подробный разбор позднее устроила супруга.

– Боря, это правда?

Сговорились они с Кузнецовым, что ли? Обвиняют, но не скажут – в чём. Капитан стянул лётную куртку и шлемофон.

– Правда, что я устал и есть хочу.

Евгения раздражённо налила суп в миску.

– Не отводи глаза! Мне Варька из штаба шепнула... Про англичан. И что тебя ставят на комполка. Ну зачем тебе это? С эскадрилей не всегда ладишь, Кухаренко от рук отбилась, тоже мне – дружок...

– Бабское радио, вашу мать! – в сердцах выругался Борис и прижал ладонь к губам – не услышал ли Игорь. – Ты что, мне Особый отдел дома устраиваешь? Да вас самих за военную тайну...

– Не переводите разговор! Ты – первоклассный лётчик, но не пастух англичанам. На тебя ж вся страна смотреть будет.

Пока на него смотрел только товарищ Сталин, чей портрет, вырезанный из журнала, был единственным украшением их кухни в крохотной квартирке длинного двухэтажного дома для офицерских семей.

– Пусть. Всё нормально.

– Нормально?! А что раньше говорил? Если к нам сунутся, мы за неделю любого выгоним! Что за красным военлётом будешь, как за каменной стеной. Вон сколько гибнет, конца-края не видно. Каждый вылет... я до вечера не знаю – вдова или ещё нет...

– Не смей! Идёт война. Я там, где нужнее. И точка.

Взаимоотношения красного сокола Кухаренко и его новой знакомой были далеки от стадии, когда мужчина и женщина предъявляют друг другу претензии. К концу следующего дня он внезапно пропал с лётного поля и столь же неожиданно объявился с микроскопическими синими цветочками из растущих в августовской тундре.

– Как мило... Неужели вы романтик, товарищ Алексей?

– Все лётчики – романтики. Только мой командир умело это скрывает. Позвольте, дорогая Мира, эскортировать вас до разворота на глиссаду у вашего аэродрома.

– Хотите проводить меня? Так и говорите! Я из всего вашего лётчицкого лексикона только одно знаю – «от винта».



Девушка привычным движением поправила тёмную упрямую прядь, выбившуюся из-под беретки. Её тёмно-карие глазки глядели насмешливо и оценивающе.

– Ну, если девушка говорит военлёту эти слова на свидании, он – в штопоре! Вашу ручку, товарищ Мира...

У казармы, где крайние комнаты отводились для командировочных, Кухаренко снова задержал её пальцы в своих ладонях. Она отмерила точно рассчитанную паузу, потом гневно вырвала руку.

– Комсомолец Кухаренко, вы что себе позволяете? Вот я генералу пожалуюсь!

– Хоть товарищу Сталину! Ни один истребитель не знает, вернётся ли завтра с задания... Летаем на смерть! Поэтому на земле не теряем времени.

Он быстро чмокнул Миру в лоб и убежал, чтоб не получить нагоняй. Но недалеко. Под соснами Алексей натолкнулся на задумчиво курящего Сафонова.

– Сбавь обороты, заполярный Дон Жуан.

– Зачем? – легкомысленно отозвался тот. – Мотор прогрет, выкруливаю на взлёт...

– Батя ясно дал понять: девочка из верхов, образцово-выдержанная. Кого, как ты думаешь, приставили следить за британцами?

– Особистов?

– Те двое, что с генералом, да, из Особого отдела фронта. А Мира... Боюсь, этого даже Кузнецов не знает. Так что держи язык на привязи, а штаны застёгнутыми. Понял?

– Да чё уж там...

Сафонов выбросил окурок.

– Лёха, лучше скажи, мне что делать? Я – командир истребительного полка. В нём ни одного лётчика и самолёта, а результат завтра потребуют.

– Да ничего не делать. Воевать. За баб и детей, за тех, кто остался под немцем. А как прилетят англичане – будет видно. У тебя никто...

– Никто. Родители Жени уехали из Витебска до немцев, мои под Тулой. Но столько народу... Леша, я ведь многих знал, кто не успел сбежать. Там теперь фрицы!

Кухаренко посерьёзnel. Радость от знакомства с Мирой рассеялась. Он болтал с ней о краткости жизни лётчика, но это не шутки – это правда. Пока идёт война, по-настоящему радоваться невозможно.

## *Глава третья*

### **САДЖЕНТ СМИТ**

Кокпит истребителя Hurricane MkIIb, наверно, самый неудобный учебный класс на земле. Но другого не было. Кухаренко уселся в пилотское кресло. Его ошалелый взгляд пробежался по множеству приборов с надписями на непонятном языке. Поверх английских букв сиротливо белели три бумажки с переводом их тарбарщины на русский – «высота», «скорость», «тангаж», – одна отвалилась от залетевшего порыва ветра.

Сержант Смит, британский лётчик из состава 151-го крыла Королевских военно-воздушных сил, монотонно бубнил:

– Харрикейн набирает пятнадцать тысяч футов за шесть минут и разгоняется до трёхсот двенадцати миль в час...

Мира синхронно переводила.

Сафонов мысленно пересчитал в привычные величины.

– Примерно 500 километров в час... Прожорливый, небось. Сколько у него ёмкость баков?

Он говорил медленно, отрывистыми фразами, чтоб не усложнять Мире работу.

– Девяносто один галлон, – ответил сержант, демонстрируя изумительную память на цифры. – Запас топлива обеспечивает боевой радиус до шестисот миль. С полной заправкой взлётный вес составляет семь с половиной тысяч фунтов.

Кухаренко перебил, не дослушав перевод до конца:

– Задрало... Придумали тоже – мили, галлоны, фунты... Нет, чтоб как у людей.

Смит не понял смысла, но уловил неприязнь в интонации.

– Что он сказал? Что ему непонятно? Этот русский не знает галлоны и мили?

Алексея трудно было остановить.

– Невозможно это – сколько ихних галлонов он сожрёт, чтоб «мессера» догнать... И догонит ли вообще?

В голосе сержанта зазвенел металл.

– Мира, вы здесь единственный образованный человек. Объясните ему.

– Алексей, это же очень просто. В одной миле тысяча шестьсот метров. Помечайте прямо на приборе...

Карандаш не оставил на стекле ни следа. Она потянулась к приборной доске с помадой, попыталась чёркнуть. Снова вмешался Смит:

– Возьмите!

Он протянул цилиндрик помады, Мира с благодарностью взяла. По окончании урока помада осталась у переводчицы, и не нужно было иметь талант ясновидящего, чтоб угадать, какой оттенок примут завтра её губы.

Вечером они возвращались в военный городок впятером – трое советских и два англичанина. На фоне двух лётчиков-североморцев Смит смотрелся карикатурно мелким – едва выше Миры. Было заметно, что два коротышки 151-го крыла, он и флай-сэджент Хоу по прозвищу Вэг, обычно стараются держаться вместе.

На коротком поводке, выдёргивая лапы из грязи, трусил Монморанси – спаниель Смита.

Кухаренко примолк, о чём-то сосредоточенно раздумывая. В присутствии англичан он почему-то стеснялся заигрывать с Мирой. Сафонов, напротив, дружелюбно беседовал с теми через переводчицу.

– Вы так привязаны к своей собаке, сержант.

Британский лётчик потрепал пса за ухом.

– Да. Он помог найти мою сестру под развалинами Ковентри. Здесь он мне как талисман в чужой стране. Капитан, мы совсем другими представляли вас.

– А теперь?

– Всё изменилось. Год после капитуляции Франции мы воевали с гуннами в одиночку. Теперь мы не одни!

– Да, сержант, теперь мы вместе, – Сафонов вытащил блокнот с записями и с усилием произнёс: – Ви а тугеза.

– Фрицам аллес капут! – проснулся Кухаренко.

– Ты б лучше английский учил, Алексей. В бою как с ними разговаривать будешь? И где твоя тетрадка? – почувствовав, что её вопрос повис в воздухе, Мира вытащила из сумки потрёпанную книжку. – Бери учебник, раз у тебя до сих пор нет конспекта.

Массивное двухэтажное здание, служившее казармой британскому крылу, располагалось рядом с временным пристанищем Миры. Как-то само собой получилось, что московская барышня и оба англичанина свернули туда, а Кухаренко замешкался, раскрыв подаренный Мирой учебник.

– Ландан из зэ кэпитэл оф Грэйт Брытн. Айм он дьюты тудэй. Езы тыз. Рязань, твою душу...

Со стороны «Кремля», так иностранцы окрестили свою обитель, донеслись голоса Миры и Смита.

– Миля есть тысяча чэсот двадцать один метрс. О'кей?

– Вот они – правильно учатся, – заключил Сафонов, но Алексею бросилось в глаза совсем другое – за переводческими экзерсисами Смит как бы невзначай взял Миру под локоть.

– Эй, чо он руки распускает? Да я ему без всякого английского растолкую.

Сафонов тоже взял его под локоть, но не как британец, а сильно – не дёрнешься.

– Я тебе быстро толковалку обломаю.

Кухаренко подёргался и притих.

– Ну... Я вежливо.

– По-английски? Скажешь «ху из он дьюты» и врежешь по рогам? Отставить! Кру-угом! Шагом марш в люльку, военлёт.

Но конфликт назревал.

На следующий день по первому снегу англичане играли в футбол сквадрон на сквадрон. Так, на манер кавалерийского эскадрона, в Королевских ВВС именовались половинки авиационного крыла. Их командир, улыбчивый винд-коммандер Рамсботтом-Ишервуд, снисходительно посматривал на подопечных. Мира объяснила Сафонову, что с такой фамилией, означающей «баранью задницу и какое-то дерево», без юмора прожить невозможно.

Импровизированное футбольное поле окружила редкая цепь солдатиков в потёртых шинелях с винтовками и примкнутыми штыками. Наверно, они должны были защищать драгоценных союзников от внешних напастей, но футбол оказался интереснее службы, и парни с винтовками смотрели внутрь охраняемой зоны, отчего спортивное действо напоминало тюремные состязания в кругу стражников.

Британцы предлагали сыграть с ними, потом звали советских в состав своих команд. К их удивлению, никто не откликнулся, включая двух строгих офицеров, что сопровождали Кузнецова и Миру в её первом визите на аэродром.

Не играл и Кухаренко, хмуро поглядывая на поле. Два лётчика-коротышки носились как заведённые, они давали основной результат команде. Мира с детской непосредственностью хлопала в ладоши.

Вечером были танцы. Патефон играл что-то английское из привезённых гостями пластинок. Кружились пары – весьма немногочисленные из-за малого количества женщин: переводчиц, врачей и нескольких офицерских жён. Мужчины преобладали. Только британцев набралось две дюжины, половина их лётного состава.

Монморанси тихо сидел в углу. Ему тоже не досталось подружки.

Мира надела длинное зелёное платье, настоящее вечернее, на зависть местным модницам. Её круглое чуть смуглое лицо порозовело от танца и, наверно, от постоянного пребывания на свежем северном воздухе – в Москве такого не найти.

А ещё она второй танец подряд кружилась со Смитом.

– Вот тебе и ЦК комсомола. А нас дрючили – не допустить морального разложения, – проворчал Кухаренко.

– Уймись! – осадил друга Сафонов. – В первый же день сказал – отвянь. Не про тебя баба.

Флай-сэдженг Хоу вслушивался, не в силах понять ни слова. Он чувствовал – приближается неприятность, но не мог знать, откуда дует ветер. Русские в большинстве своём были или доброжелательны, или сдержанны, и только один офицер, товарищ Сафонова, постоянно выказывал неприязнь.

– Через пару танцев он её утянет к себе в кокпит. Да сделай что-нибудь, капитан! – взмолился Алексей.

Сафонову это надоело, и, к неудовольствию собравшихся, он приказал:

– Мира! Скажи англичанам – поздно, завтра вылет, всем нужно выспаться.

Толпа повалила к выходу. И надо же было такому случиться, что открыли только одну створку двери, отчего Смит оказался слишком близко к Мире, положив руку ей на спину...

Сафонов едва успел крикнуть:

– Алексей, стой! Не дури!

– Сор-р-ри, сэ-рр! – провозгласил тот с ужасным произношением и ударом кулака снёс Смита с ног.

Сафонов набросился сзади, предплечьем сдавил шею драчуна, оттаскивая от англичанина. На помощь кинулся Хоу и тоже чуть не заработал на орехи: Кухаренко размахивал руками, словно изображая ветряную мельницу.

В драку бросился Монморанси, оправдывая кличку, полученную в честь своего предприимчивого тёзки из «Трое в лодке...». Спаниель пытался куснуть Кухаренко за штанину, но его героические действия пресекла Мира – схватила за ошейник и утащила от греха подальше.

Не в силах освободиться из железной хватки капитана, неудачливый поклонник сдавленно промычал поднимающемуся сопернику:

– Вали в свой Лондон и там за баб хватайся! Миру не трогай!

– Отстань от нас! – она тут же гордо прошествовала мимо с собакой на поводке.

Гнев красного сокола переключился на другую цель.

– Отстань, да? С империалистом нежишься? Знаю я вас таких, нежных. Англичане навезли вам помады, духов, жратвы, вы и рады... Вы и готовы...

– Дурак! Ничего ты не понимаешь!

Наконец, крики, ругань и собачий лай стихли. Кухаренко с Сафоновым закурили на крыльце клуба.

– Ты хоть понимаешь, что натворил?

– Начистил рыло засранцу... Но Мира-то хороша! Наша, а на него польстилась.

– Оставь, найдёшь другую, а не эту столичную.

Но Алексея было не сбить с взятого курса. Виденное он воспринимал исключительно в чёрном цвете.

– И самолёты у них – дерьмо. Пушек нет. Одни пулемётики типа нашего ШКА-Са. Немца разве что поцарапают. Увидишь – как начнутся вылеты, фрицы этих лощёных «джентльменов» как воробьёв из рогатки...

– Не загадывай заранее. Завтра посмотрим.

## Глава четвёртая

### СКВАДРОНЫ НАД АРКТИКОЙ

Разумеется, слух о скандале в клубе докатился до генерала. Утром он примчался в Ваенгу и на аэродроме первым делом задал вопрос:

– Капитан, почему у одного из английских лётчиков разбито лицо?

Сафонов мялся. Ни один из заготовленных вариантов ответа не казался ему подходящим. Пока он тянул nepозволительно долгую паузу, Мира перевела вопрос на английский.

Из группы британцев вперёд шагнул Смит. Из-за лилового кровоподтёка на скуле его лицо с мелкими чертами казалось детским и вызывающим жалость. Он отчеканил:

– Имею претензию к наземным службам. Плохо лёд чистят. Я поскользнулся.

Два слова – pretension и ice – Кузнецов разобрал до перевода. Он потёр краснеющий от утреннего холода курносый нос, этот жест не скрыл от Сафонова облегчение командующего. Значит, последствий мордобоя не ожидается.

– Айс? Мира, передай ему – мы в Заполярье. Здесь лёд до Северного полюса, пусть под ноги смотрят.

– Спасибо, сажент! – «перевела» Мира, вызвав удивление генерала, но сделать замечание он не успел – примчался дежурный с вышки с сообщением о приближении вражеских самолётов к Мурманску.

– Винд-командер! Ваши орлы к пробному вылету готовы?

– Да, сэр! – энергично откликнулся «Баранья задница». – Двигатели прогреты!

– Немедленно эскадрилью на старт и к Мурманску!

Британец бросился поднимать сквадрон, правильно истолковав «старт» и «Мурманск», чем породил ехидное замечание Мира: «Скоро я буду не нужна».

Вылет планировался чисто английскими экипажами с задачей «засветиться» над финской территорией, в идеале – сбить финский самолёт. Лондон стремился показать правительству в Хельсинки, что там выбрали не самого лучшего союзника и британское возмездие неминуемо.

Но «юнкерсы» над Мурманском внесли коррективы. Город уже пылал, когда с востока показалась восьмёрка «харрикейнов» с разноцветными кругами – опознавательными знаками Королевских ВВС. Наверно, пилотов Люфтваффе, переживших «Битву за Англию», постигло ощущение дежавю при виде этих самолётов, неуместных на русском Севере... Возможности и времени предаться воспоминаниям им не дали.

В Ваенге у радиостанции столпилось слишком уж много народу. Радист включил репродуктор на громкую связь. Мира первой разобралась в отрывистых английских репликах и ахнула:

– Что они делают!..

– Что именно? – тревожно спросил генерал.

– Бросились на немцев в лоб, одной линией! Воображают себя рыцарями Камелота, мальчишки...

Сафонов схватил микрофон и сунул Мире.

– Передай приказ: пусть не рискуют зря! Верно, товарищ генерал?

У того было другое мнение.

– Отставить! Не дурнее нас. Пусть воюют.

Корректные фразы, перемешанные с треском помех, вдруг сменились воплями, руганью. Послышался грохот авиационных пулемётов. Кто-то не отпустил клавишу микрофона и начал стрелять.

Сафонов почувствовал, что Мира инстинктивно стиснула его руку.

Когда «харрикейны» заходили на посадку, радиослушатели бросились на лётное поле.

– Пять... шесть... – считал Сафонов. – Все... или нет?

Через минуту от стоянки к ним бегом ринулся Хоу. «Чопорный и корректный» флай-сэджент сорвал шлемофон, подбрасывал его вверх и что-то орал.

– Вот вам английская сдержанность! – вздохнул генерал-майор. – Что он вопит?

– Сбили «мессершмитт» и «юнкерс»... – дрожащим голосом произнесла Мира, затем шагнула навстречу лётчику. – А наши? Our? Наши как? Все вернулись? Where is Smith?

– Суется, сучка... Слышишь, Борь, англичане для неё – «наши»! Подумаешь, прибьют твоего Сми-и-ита. Импортных ещё до хрена, танцуй под любого за помаду.

На этот раз Кухаренко окончательно перегнул палку. Сафонов обернулся как ужаленный.

– Товарищ старший лейтенант, чтоб больше от тебя я этого не слышал! Нам с британцами воевать крылом к крылу! И Миру не трогай. Если она выбрала Сми-та, это её дело. Ещё раз кулаки распустишь, отправлю под арест. Понял?

– Ну, извини, Боря.

– А я не понял!

До нарушителя спокойствия начало доходить.

– Виноват... Так точно, товарищ капитан!

Наконец показался Смит, с виду – целёхонький. Мира, не скрываясь, побежала к нему. Остановилась метрах в двух...

От созерцания этой слишком откровенной сцены Кузнецова оторвал возбуждённый голос радиста:

– Товарищ генерал-майор авиации! Радиограмма. «Юнкерс» в 49-м квадрате.

– Не уймутся, гады. Мало им... – командующий снял фуражку и пригладил седой стриженный ёжик. – Один – значит, разведчик. Рамсботтом! Мира, скажи ему: отправить пару на перехват. Борис! Вот отличный повод проверить себя на «харрикейнах». Бери ведомого и лети с британцами.

– Есть!

По пути к стоянкам капитана догнал Кухаренко. На широкой крестьянской физиономии лётчика отражалась борьба чувств. Здравый смысл подсказывал – сегодня лучше не отвешивать после «подвигов» и нагоняев, но свербело... Обратился по всей форме:

– Товарищ капитан, разрешите с вами?

– Отставить. Сам полечу, с англичанами. Ведомым Адонкина возьму.

– Почему?

– Потому что Смит – наш товарищ.

– Товарищ? Англичанин Смит нам товарищ?!

– У него отец – простой рабочий. Погиб от немецкой бомбы год назад. Мать едва концы с концами сводит. А ты... – Сафонов скривился и передразнил: – «Империали-ист»... Только и норовишь, дубина стоеросовая, ему кулаком в морду заехать. Стрельнешь ещё в хвост.

– Я ж не знал... Борис Феоктистыч... Товарищ капитан! Обещаю слетать без самодурства в воздухе.

Не получилось. Кухаренко угодил в опалу, которая закончилась очень быстро, когда стряслась беда – не от немецких снарядов и бомб, а где её меньше всего ожидали.

Однажды пилот газанул на земле для проверки мотора, удерживая тормоза. Самолёт поднял хвост, воздушный винт ударил о лёд и разлетелся на мелкие щепки. Сафонов велел техникам садиться верхом у киля для противовеса, и буквально на следующий день один из британцев взлетел с сидком позади кабины...

«Харрикейн» ушёл свечой вверх, через секунду рухнул на хвост от потери скорости. Лётчика собирали в госпитале по кускам, техника спасти не удалось.

От трибунала Сафонова спасло лишь то, что он ещё формально не вступил в должность комполка, за самолёты и экипажи отвечал винд-коммандер. Арестовывать главу миссии союзников никому и в голову не пришло.

Притихший Кухаренко на фоне этого происшествия смотрелся безобидным шалуном. Его допустили до полётов.

В воздух поднимались каждый погожий день. «Вэг» Хоу, однажды выбравшись из истребителя, гордо поднял три пальца – он в Арктике завалил третьего «гунна». Уже не носился по аэродрому как шальной. Просто – работа.

Октябрь принёс настоящие холода, не столько низкую температуру, сколько резкий пронизывающий ветер. Отношения между англичанами и русскими, наоборот, потеплели. Даже многозначительные взгляды офицеров-особистов не сдерживали. Людей из двух таких разных стран объединило общее северное небо.

Вечера становились длиннее. Кто-то из британцев умудрился притащить в клуб настоящую шотландскую волынку. Неужели спрятал её в кокпите «харрикейна», когда гнали машины с авианосца на Ваенгу? Никто так и не узнал.

Русские учили иностранцев своим песням. Одна через годы станет гимном северных лётчиков (автор Олег Неменок):

*Отпусти тормоза, и земля на мгновенье замрёт.*

*А потом, оттолкнувшись, растает в рассветной дали.*

*И внимая всем сердцем ожившему слову – полёт,*

*Оставляем внизу притяжение старушки Земли.*

В ясную погоду Мира, можно сказать, летала вместе со всеми – до самой посадки неотлучно сидела около радиста. Как и в тот день, когда в воздух поднялась четвёрка из двух пар – Хоу, Смита, Сафонова и Кухаренко. Монморанси чинно ждал снаружи. Бедный пёс привык и к стуже, и к тому, что хозяин гораздо больше времени уделяет не ему, а тёмноволосой женщине.

Кузнецов глянул на часы – скоро стемнеет. Можно было уже дать команду о возвращении на Ваенгу, когда в репродукторе услышал голос Хоу:

– Гунны! Шест... Ноу! Восем!

– Восемь «мессеров», – уточнил Кухаренко. – И бомбардировщиков до хрена. Не сложно было угадать приказ Сафонова.

– Атакуем!

В закуток радиста ворвалась обычная какофония воздушного боя.

– Отсекаем «мессов». Вег! Ёабомберз!

– О'кей! – откликнулся Хоу. Даже через помехи радиосвязи угадывалось его крайнее напряжение – одних только «эмилей» было вдвое больше, а четвёрка с Ваенги надеялась пощипать и бомбардировщики.

Ни для кого не являлось секретом, что Мира в такие минуты больше всего ждала, когда в репродукторе раздастся голос обычно немногословного Смита. И он действительно прозвучал:

– Four... Четыре гунна... Help me!

– У него дым идёт... – крикнул Сафонов, а Кухаренко взмолился:

– Тяни к нашим!

Они все пытались поддержать, помочь.

– Come on! Jump! – надрывался Хоу.

Ему вторил Сафонов:

– Прыгай! Саджент! Джамп! Садиться опасно...

В эфире гремели только три голоса.

Мира с побледневшим лицом повернулась к Кузнецову:

– Это он... Товарищ генерал, один «харрикейн» сел в тундре!

– На нейтралке? Твою ж налево... Петров! Соедини меня с Мурманском!

У девушки брызнули слёзы.

– Там сержант Смит... Кто-нибудь к нему вылетит?

Генерал был неумолим.

– Тундра – сплошные камни. Даже «эр-пятый» не сможет. Ждём, когда пехота его вытащит. Не впервой. Обойдётся.

Не согласившись с генералом, страшно взвыл Монморанси...

Спаниель оказался прав. Двумя днями позднее он лежал на пузе, опустив морду на лапы. Монморанси не умел читать, не мог разобрать надпись на кресте – Sergeant N.Smith, No. 81 Squadron No. 151 Wing RAF. Чуть ниже – KIFA, погиб в лётном происшествии. И без всяких надписей пёс знал: под крестом – хозяин.

Грохнул залп салюта.

От кладбища шли втроём – Сафонов с Кухаренко, Мира чуть сбоку. Хоу догнал их с собакой на поводке.

Он протянул капитану пилотку Королевских ВВС и произнёс длинную взволнованную тираду:

– Борис Феоктистович... Вег просит вас взять на память. Говорит, что уверен – вы сможете сражаться на «харрикейнах», мстить немцам за Смита... – Мира явно сглотнула комок. – Когда летели сюда, не понимали толком – зачем. Хоть русские и союзники, но на Севере это их... В смысле – наша война, не англичан. Теперь они знают: чужой войны не бывает. Она одна на всех.

– У нас не заржавеет, – вставил Кухаренко.



Порывистым движением Мира отобрала пилотку и прижала к лицу. Но её ждал другой подарок.

– Мы скоро улетаем из Ваенги. Монморанси лучше будет с вами.

Хоу отдал ей петлю поводка.

Сафонов крепко пожал руку англичанину.

## Глава пятая

### КОМАНДИР ПОЛКА

Зима для Евгении сложилась на удивление спокойно. В «харрикейнах» замёрзла гидравлика, и командир смешанного авиационного полка оказался прикованным к земле. Он буквально дневал и ночевал на службе, тем более в Заполярье слово «день» носило довольно условный характер. Но сам не летал и не рисковал, занимаясь обеспечением бомбардировщиков-торпедоносцев.

Евгения тоже не сидела сложа руки – она была фельдшером. Ранения, травмы, обморожения... Иногда сажавший свою машину лётчик оказывался так искалечен, что диву давались – как он не умер в воздухе. Порой лишь пилот оставался живым, тела штурмана, радиста и хвостового стрелка успевали задубеть на морозе. Их с трудом вытаскивали из самолёта.

К весне союзники прислали новые истребители – американские «томагавки» и «киттихоки».

– Сегодня погода... Летите?

Сафонов повязал тёплый английский шарф. В военное время здесь никто не относился строго к соблюдению формы.

Обнял жену.

– Как прикажут. Игорёк ещё кашляет?

Сына он практически не видел.

– Меньше, но... Боюсь, ещё одна зима на Севере его доконает.

– Ну, ничего. Немца от Москвы отбросили. Чуть потеплеет – поедете к моим в Тулу.

– Поверить не могу... Мой Борька – командир полка. И как тебе?

Она была готова болтать с ним о чём угодно – вот так, на пороге квартиры. И в Ваенге редко видятся, а если уехать на Большую землю...

– Хреново. Что без патронов перед двумя «мессерами». А своим слабака показать не могу, ни Алёшке-раздолбаю, ни остальным... Одно дело самому или, там, эскадрилья... Да и на аэродроме хлопот полон рот, каких раньше не знал.

– То есть больше командовать – меньше летать?

– Нет, Женечка. Только личным примером.

– Опять...

– Не волнуйся за меня. Я обязательно вернусь.

– Па-апка!

Разбуженный разговором, в прихожую влетел Игорь. В руке сжимал маленький краснозвёздный самолёт – он и спал с ним.

Отец подбрёл сынишку над головой, очень аккуратно, чтоб не задеть близкие стены. Война зачастую отнимает не только жизнь целиком, но и отдельные,

чрезвычайно важные куски жизни – часы, что мог бы уделить сыну, Сафонов проводил за совещаниями, разносом нерадивых подчинённых, «выбиванием» топлива, боеприпасов, запчастей, за отписками и приписками, тысячью других дел. Что поделаешь – служба.

Прокрутившись полдня, он смог присесть единственный раз – у стойки шасси «киттихока». Кухаренко, пилот этого истребителя, ходил смурной, и комполка безошибочно догадался о причине хандры.

– Так что Мира? Успокоилась?

Алексей привычно достал курево.

– Плохо. Сама не своя. Никого к себе не подпускает, только псину его тискает.

В ожидании следующей операции союзников московское начальство распорядилось остаться переводчице в Ваенге. Последние пару месяцев Сафонов не видел Миру, документы на перевод Кухаренко охотно таскал ей в казарму.

– Так что духи и помада...

Лётчик сердито шлёпнул ладонью по обтекателю.

– Чушь это всё. И я ерунду порол. Выходит, правда она его любила.

Сафонов больше думал о своём.

– Вот бабья доля, если твой мужик – истребитель. Меня жена на аэродром провозит и всё смотрит от двери, будто видит в последний раз. Потом ахает – прилетел-таки.

Он вытащил семейное фото с улыбающимися лицами Жени и Игоря.

– ...У неё ребёнок будет.

Командир догадался, что упустил нечто важное из монолога Кухаренко.

– У кого? Чей ребёнок?

– У Миры. От Смита.

– Вот те раз... Ничего. В войну часто бабы с детьми остаются без мужиков.

– Она не останется. Я предложил байстрюка признать. Как родится.

– Согласилась?

Кухаренко чертыхнулся.

– Нет пока.

– Немудрено, если ты её ребёнка заранее байстрюком зовёшь.

– Ну да... С бабами трудно. С «мессерами» и то проще...

Свою проблему Сафонов решил просто – в апреле отправил Евгению с сыном к матери, после чего окончательно переселился в казарму, чтоб не видеть пустой квартиры.

Теперь летали часто. Тяжёлые американские истребители позволяли уходить далеко в море на прикрытие союзных конвоев.

30 мая 1942 года Кухаренко, следуя ведомым, увидел дым из-под капота машины Сафопова.

– Девятый! У тебя мотор дымит! Возвращаемся?

– Отставить. «юнкерсы» над конвоем. Атакуем!

Очередь хвостового стрелка пронзила и без того «больной» мотор. Пули прошли алюминий блока цилиндров, разорвали проводку, топливные магистрали... Самолёт отвесно устремился к воде.

– Борис! Прыгай! Пры-ы-гай!!

Отчаянный вопль Кухаренко в эфире услышали на советском эсминце, что шёл в составе конвоя. Капитан запросил у командующего эскортом дозволения идти на поиски Сафопова. Англичанин отказал.

Всех этих деталей Евгения, конечно, не знала. Ей сообщили только главное. Был яркий июньский день. В небе над Тулой безмятежно светило солнце. Игорьёк носился вокруг обеденного стола.

– Мама! А когда папка прилетит... А почему ты плачешь?

Ей не хватило сил на ложь. Упав на колени, женщина прижала сына к себе.

– Не прилетит твой папка... Фашисты его убили.

Игорь всхлипнул, но сдержал слёзы.

– Вырасту – сам убью их всех.

Маленькая ручка сжала деревянный краснозвёздный самолётик, выструганный отцом в далёкой Ваенге.

### ОТ АВТОРА

Повесть основана на реальных событиях, пусть и без документальной точности.

За два месяца боевых действий над Кольским полуостровом британские истребители заявили о тринадцати воздушных победах. Впоследствии подтвердилось двенадцать. Это уникальное для того времени достижение результативности и, конечно, честности в отчётах.

Из побед Бориса Сафонова (лично и в группе) данными противника подтверждается не менее семнадцати. Из числа «юнкерсов», атаковавших союзный конвой у входа в Кольский залив 30 мая, два не вернулись на базу, один из них или даже оба уничтожил Сафонов в последнем бою – на истребителе с неисправным двигателем.

Рамсботтом-Ишервуд, «Вэг» Хоу и ещё два британских лётчика были награждены Орденами Ленина, Сафонов и Кухаренко – крестами «За выдающиеся лётные заслуги» Британской Империи.

В память о выдающемся лётчике посёлок и военный аэродром Ваенга переименован в Сафоново, в наше время это часть города Североморска Российской Федерации.



## Дружба без границ

*Елка НЯГОЛОВА*

*Болгария*

## *Невысказанное*

### **ПЛАЧ О МАРИНЕ**

Марина – крик в просторе синем,  
Душа в сиянии бездонном.  
Бессонна в августе Россия  
И после августа – бессонна.

А небо цвета темной глины  
Своей бездомностью волнует.  
Бессонные стихи Марины  
Приходят в пятницу страстную.

Большой ребенок... Полукровка...  
Росинка на смолистом срезе...  
Поэт напишет о веревке,  
А после сам в петлю полезет...

Но почему, но почему же  
Все это мне ночами снится?  
Шесть граммов – столько весят души...  
Подхватишь – ломит поясницу...

### **РУКИ МАМЫ**

Руки мамы укропом пропахли.  
Детством. Летом. Визитом врача.  
Я не плачу... Соленые капли?..  
Это просто слезится свеча.

Это мама во сне осторожно  
Простыней укрывает меня.  
Осчастливить, наверное, можно,  
С неба светлую тенью маня...

Помнишь, мама, мы вместе искали  
Трав целительных чудо-цветы.  
И пока собирали – устали,  
Задремали в траве – я и ты...

Снился папа... Такая примета –  
Значит, скоро обед и привал.  
«Это пчелки, влюбленные в лето...» –  
Он веснушки твои называл.

Пахнут руки запаркой из липы.  
И мелькают шальные крыла  
В небе синем... Под мамины всхлипы  
Божья Матерь мне чай налила.

## ГАЛЛЮЦИНАЦИИ

*«Свеча горела на столе,  
Свеча горела...»*

Борис Пастернак

Пусть всё – не то, пусть всё – не так,  
Плевав на козни,  
Опять приходит Пастернак  
В час этот поздний.

И видит – вновь на потолок  
Ложатся тени.  
И слепота остывших строк  
Студит колени.

И вновь метет по всей земле,  
Во все пределы.  
И ангел светится во мгле,  
Мой ангел белый.

Поэт присядет на софу,  
Глаза поднимет.  
Я прошепчу его строфу,  
Он молвит имя.

Я не поверю этой мгле,  
С бедой согласной.  
«Свеча горела на столе...»,  
Свеча не гаснет.

Пусть в этот час и в этот миг  
Как зла примету  
Уронит небо-ростовщик  
Звезду-монету.

Мне не заплакать – не велит  
Поэт мой главный.  
А снег парит, а снег летит –  
Косой и плавный.

Мы разойдемся... Хоть кричи.  
Метель... Усталость.  
Растаял Пастернак в ночи –  
Строка осталась.

## НЕВЫСКАЗАННОЕ

*«Мужчинам на Святой Руси  
Не нужно счастье...»*

Максим Замшев

А женщины в моих краях  
Стирают небо.  
В их смехе солнечный распах  
Сияет немо.  
По осени и там и тут  
Под божьи гневны  
Из туч мелодии прядут,  
Прядут напевы.  
Молитву женщина твердит  
Сквозь сумрак серый,  
Как будто учит алфавит  
Любви и веры.  
Опять о детях сны и речь.  
Скользка дорога.  
И хлеб торопится испечь  
Для них и Бога.  
Все молит: «Боже, помоги  
Дойти до сути!»  
Считает «Звездный грош» шаги  
В душевной смуте.  
И так в Болгарии везде –  
И мать, и сваха  
Как бы распяты на кресте  
Любви и страха.  
Который век, который год  
При всем народе  
Душа как иволга поет,  
И боль уходит.

**МОИ ГЛАЗА**

Ужас в зрачках не погас... Тучи теснятся.  
На высоту моих глаз сможешь подняться?

Глянeshь, и станет темно. Лучше не надо!  
Просто тебе не дано выдержать взгляда.

Может лишь горный орел взмыть над вершиной.  
Ты ж высоте предпочел ужас мышинный...

К солнцу хотел, но завис над перелеском.  
Вниз, испугавшийся, вниз – в свете нерезком.

Нет высоты на двоих... Крылья сторели.  
Ты не рожден для моих солнечных трелей.

Тех, что вконец ослепят, взмыть заставляя.  
Прочь, возвращайся назад, я – не земная.

Вечно страшись высоты рядом со мною:  
Гляню – покатишься ты черной слезою.

**МУЗЫКА НА ПУСТОМ ПЕРРОНЕ**

Пальцы, что в кровь порезаны,  
Сломали печать небесную,  
И поздно, и поздно дьявольски  
Твердить: «Я уже осенняя...»  
Все то, что глаза увидели,  
Где жизнь, будто тень апокрифа,  
Где горькая скрыта тайнопись...  
Тропинку поцеловала я,  
Здесь в землю твой след впечатался,  
Здесь бьются ключи незрячие,  
Пленив мою душу слабую...  
Я сразу и не заметила,  
Что очи теряют зрение.  
Вокзал тишиной окутался,  
И спал машинист, наверное.  
Прошли эшелоны пыльные,  
А мне Белый поезд чудился,

И сумрак, взмахнувший палочкой,  
Той музыкой дирижировал.  
Дорога звенела рельсами,  
Не смея от мира спрятаться.  
И Дева Мария кроткая  
Явилась мне в ночь бессонную.  
Платформа была пустынной,  
И робко по ней ступала я.  
А пальцы, казалось, восковы –  
Исчезла печать небесная.  
Ребенок крестился истово.  
Ты память из глаз стирала мне,  
Что Белого нету поезда  
Тихонечко мне поведала.  
И я пред тобой, Пречистая,  
Тотчас на колени рухнула,  
И слезы из глаз закапали –  
Из глаз, ничего не видящих...

Перевел с болгарского  
Анатолий Аврутин

## Дружба без границ

---

*Залман ШМЕЙЛИН*

---



### *Душа на ветру*

\* \* \*

Завтра сдавать на классность, а Элерт такой тупица  
Мы с ним провалимся вместе, черт бы его побрал.  
Я одиннадцать месяцев собирал себя по крупицам,  
И вот, такой мне напарник – взводный вчера сказал.

Это отнюдь не интрига, нет в ней антисемитизма  
Фамилии наши рядом, меньше чем в двух шагах.  
Шпильман и Элерт в списке лепятся с самого низа,  
Хотя он родом из Энгельса, а мне земляком – Шагал.

Что-то родное в суффиксах да и в дорожках – тоже,  
Его – в Казахстан с Поволжья, моя – с Двины на Урал.  
С ним не пересекался за двадцать годочков прожитых,  
И тусоваться с Элертом врагу бы не пожелал.

Ночь пробегает быстро, а мне ни за что не спится,  
Слышу, как дождевые капли в окно стучат.  
Завтра сдавать на классность, а Элерт такой тупица,  
Тощий, как доходяга, длинный, как каланча.

Тухлая ситуация, как-то все очень странно,  
Мне хотя бы недельку, я б его подогнал,  
Но нет и денечка даже, в армии все по плану.  
И ротный сказал: «С другими – точно ему хана».

Встали у изголовьев стражи – добрые души,  
Чтоб отступила хоть на ночь страдная маята.  
Завтра будут в эфире наши бездомные души  
Связываться морзянкой: ти-ти-ти – та-та-та.

\* \* \*

Мы теряем друзей. Не в боях, без торжественных звонов,  
Не от грозных недугов, которых врачам не унять.  
Замолчали друзья, отключили навек телефоны.  
Мы теряем друзей, оттого что не в силах понять.

Мы теряем друзей – не легко, не безопасно, как в детстве,  
Собутыльник и тот откровенно пошел «не такой».  
И кому-то бы лучше в уютном углу отсидеться,  
А он прет на рожон, как в «последний решительный бой».

Словно снова в атаку пошли конармейские лавы,  
(Видно, где-то они хоронились в туманах души).  
Мы теряем друзей, как в гражданскую – влево и вправо  
Разделились, и каждый по правде, по истинной правде решил.

Мы меняли легко долготу, широту и отчизны,  
Оставаясь в кругу, не давая его разорвать.  
Мы теряем друзей, как до срока – куски своей жизни,  
Так что нам у черты уже нечего будет терять.

### ИСПОВЕДЬ

Душа моя на ветру дрожит,  
И строка на бумагу ложится криво.  
Верую – Создатель мой грех простит,  
Что давно не видел меня счастливым.

Я забыл, когда это было в последний раз.  
Может, с той поры, как объелся мороженым в детстве,  
В день, когда мама сказала: «Факир на час  
Ты сегодня. Реформа, сынок, – вперед и с песней!»

В моей памяти каждый шаг запредельно крут.  
Спотыкаясь о корни навязших в зубах березок,  
Нарезаю и нарезаю, как скаковая, за кругом круг.  
Только и научился, что смеяться сквозь слезы.

Устремления живы – ни дать ни взять,  
Но за счастьем я, как за девкой, не бегал.  
Мне знакомо – и это уже не отнять –  
Только пахнущее чабрецом горьковатое чувство победы.



\* \* \*

Погода в Мельбурне как-то совсем не в кайф.  
Все сезоны за день – вовсе не эксклюзив.  
Сосед мой продал магазинчик и драйв, драйв, драйв  
В Брисбен, где круглый год тридцать и голубой залив.

Он держал много лет антикварный сток,  
Но сырость вредна для неаполитанской души.  
Его испытательный срок давно истек.  
Он сказал в сердцах «бладивеза» и свет за собой потушил.

А меня держат цепи, тянущиеся за океан.  
Я с каждой из четырех сторон в чем-то убежден.  
Даже пьянствовать предпочитаю ходить в русский ресторан.  
Я еще на пути, чтобы стать раскрепощенным, как он.

\* \* \*

Вот вам правда без всяких кудрявых прикрас:  
Побывав не однажды у самого краешка рая –  
Утверждаю, что люди на свет появляются столько же раз,  
Сколько раз в этом мире до срока они умирают.

Ты простился с кем смог, наплевал на должочки-долги –  
На свои не свои, были не были – это не важно, –  
Пусть теперь локоточки кусают врагини-враги,  
Вот остаться в живых, тут уж, как говорится, – «не каждый».

Потому что опять начинать от печурки – с нуля.  
Краскам медленно блекнуть, покудова нить не порвется.  
Кем ты в этот раз в мир проскользнешь, везунок-разгуляй? –  
Тот, что был, – за чертой. Он-то уж никогда не вернется.



## Новое имя

*Ирина ФОМИНА*

*Ирина Степановна Фомина родилась 24 января 1969 года в деревне Верхутино Стародорожского района Минской области. В 1986 году окончила с золотой медалью среднюю школу №1 г. Старые Дороги. Выпускница библиотечного факультета Минского института культуры. С 1990 года работает в Брестской центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина. Публикуется впервые.*

## ДА, ТАК БЫВАЕТ

### ЛИРИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ

\*\*\*

Люблю дождь. Причём место и время принципиального значения не имеют. Просто люблю.

Люблю смотреть на дождь сквозь оконное стекло рабочего кабинета. Прохожие, как правило, спешат. Перепрыгивают лужи, раскрывают зонты. Разные: строгие чёрные, легкомысленные пёстрые, смешные детские. Наблюдаешь, и выходить на улицу совсем не хочется, не хочется окунаться в суетливую серость.

Но гулять под дождём люблю. Одна. Зонт, дождь, мысли... Разные. Насущные и неактуальные, воспоминания и мечты, наблюдения и выводы.

Люблю в дождь быть дома. Быт уходит на второй план. Первичны ощущения. И какой-то внешний антураж: торшер, плед, книга.

Люблю дождь ночью. Под его шум сладко спится. И, словно молния, мысль: «А если до утра не закончится, какие туфли обуть: новые – жалко, старые – некрасиво».

Утро после дождя люблю особенно. Капельки на листьях, отражения в лужах, какая-то особенная чистота и свежесть.

Так совпало: сегодня дождь и вечер пятницы. Сейчас допишу, выключу компьютер и буду наслаждаться жизнью. Меня ждут: шум дождя и хороший роман.

\*\*\*

Человек превращается в Тело. Жил, любил, страдал. Момент. И уже не дышит, не ждёт, не мучается. Действительно ли душа улетает? Возможно. Ведь Момент реально существует. Из близкого и родного Человек становится безжизненным и незнакомым.

Изменить это невозможно. Так суждено. Такой срок отмерен. Каждому свой срок. Не всегда к Моменту приходишь с итогом. Иногда только с промежуточными этапами. Так кажется. Строишь планы, желаешь, мечтаешь... Осуществить не успеваешь...

А как лучше? Жить в ожидании конца или до последнего надеяться? Ответить сложно. У каждого свои приоритеты. Пока Момент не наступит – узнать невозможно. Как и во всём: пока сам не прочувствуешь – судить не имеешь права.

Хочется переоценить ценности. Вещи теряют свою значимость. Практически все. Важные лишь в определённый период для определённого человека. Особенно реликвии в качестве воспоминаний: билеты на «Призрак Оперы», стихи на фотографиях (да и сами фотографии), подсвечники к празднику, магнитик из Флоренции и ещё много-много всего, что по сути своей совсем не ценно... С собой не унесёшь. Для Тела это не важно. Важно для Человека.

\*\*\*

Еду в «двадцатке». Обычные для нашего маршрута разговоры. Огородные. «Три грядки освободила, одну засеяла...» Отвлекают от размышлений. Эти грядки люди не просто засевают, они ими живут. И совсем не имеет значения, что не всегда это целесообразно, не всегда удобно и выгодно. А порой даже и вредно для организма.

Мне это немного не понятно. Но порой я им завидую. Простым жизненным приоритетам: урожай лука, полный холодильник, шашлыки по пятницам. Давно стало этого мало. Причём и грядки с луком есть в наличии, и тандыр.

Хочется чего-то большего. Сложно сказать – чего. Случайных встреч, длинных откровенных разговоров, песен и стихов? Всё есть. Правда, нечасто. А часто и не нужно. Получится переизбыток.

Путешествий? Может быть. Но сейчас и путешествия хочется совмещать с чувствами. Не только с чувством восхищения прекрасным. Но и с восторгом оттого, что смотришь на всю эту красоту – дворцы, каналы, водопады – не один. А свет фонарей на площади Святого Марка отражается в блеске любимых глаз. Непозволительная роскошь... Можно лишь мечтать. В той же «двадцатке».

\*\*\*

Когда же придёт настоящий день? В смысле, настоящая тёплая весна. Заждались все. Мёрзнем. Холодно на улице. Холодно на работе. Благо у меня есть преимущество перед жителями мегаполиса: живу в частном доме, когда хочу – тогда топлю. Зимой я не мёрзну. Для меня не принципиально, какие у меня перчатки. Я всё равно ношу их в карманах. Зато в серое слякотное межсезонье сразу съезжаю, хочется натянуть на уши шапку, а на руки – муфту.

Сюрпризы в погоде люблю: зимой – снегопад, летом – грозу и ливень. И никак не наоборот. А солнышка хочется в любую пору года, для радости и настроения.

Все помнят «У природы нет плохой погоды...». Только мало кто знает, что у Эльдара Рязанова есть ведь продолжение:

*Штормы, вихри, смерчи, ураганы,  
зной, буран, самум и снегопад,  
я скажу вам, очень нежеланны.  
Я беру свои слова назад!*

*Отрекаюсь от своей ошибки,  
забираю эту песню вспять.  
У природы – редкие улыбки!  
Только их и надо привечать.*

\* \* \*

Цветёт черёмуха. В лесу её столько, настоящие черёмуховые заросли. А красотыца какая! Словно огромные белые букеты выстроились вдоль дороги. Так и манят к себе: подойти, прикоснуться, понюхать. Веточки-цветочки колышутся на ветру, и почти на каждой кто-то суетится, живёт своей жизнью: жучок, божья коровка, пчела.

В родительском доме на стене висит мой портрет. Один из первых. Я в кустах черёмухи (мне кажется, что на фото черёмухи даже больше, чем меня). Я беззубая, с короткой стрижкой «под мальчика» и с огромным розовым бантом на голове. Видимо, с тех самых пор я и люблю её, черёмуху...

Есть такое поверье: «Когда черёмуха цветёт, холодный ветер на свободе».

Черёмуха уже отцветает. Может, потеплеет?..

\* \* \*

Вечер пятницы... Моё любимое время. Причём вечер начинается рано, лишь только заканчивается рабочий день. Вышел на бульвар, и тут же наступает оно – время, когда можно все несрочные «надо» заменить на любимые «хочу».

Например, хочу не спеша пройтись пешком. Компания мне не нужна. Идёшь в своём темпе, ни с кем не сверяя шаг. Сейчас, в мае, особенно хорошо. Тепло, лёгкий ветерок совсем не мешает, наоборот, вносит в движения некую свободу и легкомысленность. Ещё цветут многие кусты и деревья. Создаётся впечатление, что всё хочет цвести одновременно: и майская акация, и июльская липа.

Мост через Муховец. Словно некая условная граница в понятиях работа-дом. Переходя её, будто оставляешь за спиной активность, общение, обязанности, ответственность. В нашем спальном микрорайоне всё проще: и люди чуть внимательнее, и заботы мельче. А уж на моей тихой улице, как говорится, «ни машин, ни людей...». Дома вечером в пятницу одни сплошные удовольствия. Кухню, стирку, уборку можно оставить на субботу. Опять же первично моё «хочу». Как правило, хочу вышивать. Допоздна, зная, что завтра можно поспать чуть дольше обычного. Любимые мелодии как фон. Ну а перед сном немного поэзии. Хорошее это время, вечер пятницы, спокойное умиротворение.

\*\*\*

Дождь... Я ждала его давно. Хотелось именно такого: сильного, решительного, тёплого. Такого, который если приходит, то надолго. Такого, который сразу всё забирает в плен: настроение, желания, планы.

Я ждала, и он пришёл. Сегодня. На весь день. Не мог не прийти. Он всегда приходит туда, где ждут. Иногда, правда, поздно.

Пришёл, напоил, умыл, освежил, раскрасил. За ним не хочется наблюдать со стороны, хочется мокнуть, жить, любить, танцевать.

Даже если танец будет очень медленный и немного грустный...

\*\*\*

Я – зимородок. Может, поэтому из всех пор года больше всего люблю зиму. Настоящую, морозную, снежную...

С весной и осенью я тоже дружу. Они обе раскрашивают мою жизнь в яркие цвета. А вот с летом как-то у нас отношения не сложились. Не то что я его не люблю, просто я к нему равнодушна.

Успеть. Это для меня ключевое слово лета. Убрать, собрать, заготовить, съездить... Я не очень дружу со словом «надо». По возможности пытаюсь заменить его глаголом «хочу». То же самое, но гораздо демократичнее. Вероятно, поэтому, этой летней круговерти организм иногда противится.

Возможно, я не объективна. И лето меня ещё удивит. Не исключено. Во всяком случае, оно старается. Сегодня вот подарило такой роскошный ливень в конце дня. Когда-нибудь я его ещё полюблю...

\*\*\*

Осень раскрасила город. Необычно. Постепенно. Будто мозаикой. Деревья притягивают взгляд. Завораживают разноцветием: одновременно зелёные, жёлтые, оранжевые, красные... Капельки воды на листьях. Переливаются, сияют, сверкают.

Настроение тоже осень раскрасила. Некая смесь лирики и меланхолии. Не хочется спешить. Хочется думать и размышлять, молчать и грустить... Почему-то вспомнилось: «Пейте вино, жгите свечи...». Вина не хочется, а вот свечи... Свечи, пожалуй, зажгу... Есть у меня парочка. Подарок. Подарили давно. Всё не было повода. Сегодня... Сегодня повода тоже нет. Просто... Просто осень раскрасила город...

\*\*\*

Читать люблю. У меня не возникает вопроса: чем себя занять? Мне не бывает скучно наедине с собой. Есть время – есть книга. Как правило, даже не одна. Фильм или книга? В приоритете всегда книга.

В то же время постоянно ощущаю, что многое не читано. Окружение у меня такое, люди читающие. Практически ежедневно обсуждаются книги: новинки, бестселлеры, классика. И новые книги если не читаю, то хотя бы ознакомительно листаю, но вот с классикой... Особенно зарубежной. Сплошные пробелы.

Был период, когда читала просто запойно. Когда после окончания института пришла работать в библиотеку, хотелось объять необъятное. Как сейчас кажется, выбирала почему-то всё самое толстое. «Былое и думы» Герцена, «Сага о Форсайтах» Голсуорси, «Ругон-Маккары» Золя, «Человеческая комедия» Бальзака и ещё много всего. А многое и не читано. Едва знакома с Джеком Лондоном, у Драйзера читала лишь «Дженни Герхардт», а «Моби Дик» не читала совсем. Писать об этом стыдно. Пишу специально. Чтобы как-то повернуть себя лицом к мировой классике.

\*\*\*

Чем же он хорош, осенний дождь? Да всем хорош!

От него не спасает зонт, всё равно промокают ноги, капли стекают по сумке, отдельные капают прямо на лицо. Промокнув, начинаешь ловить кайф от домашнего тепла, которое в другой день кажется обыденным. Укутавшись в плед, можно с удовольствием слушать, как дождь стучится в окно, читать, мечтать, вспоминать... Да что угодно можно делать с удовольствием.

Когда дождь заканчивается – иные удовольствия. Свежо, чисто, сухо... И кайф можно ловить уже от того, что он закончился...

\*\*\*

Необычная осень. Словно леди. Снисходительно кивает, позволяет собой любоваться. Краски пастельные. Лишь иногда, как драгоценный аксессуар, – яркая вспышка цвета.

Ничего лишнего.

Дождь? Дождь нужен земле, как увлажняющий лосьон коже.

Ветер? Ветер шуршит листвой и привносит нотки лёгкой романтики в причёску.

Леди не спешит. Это мы её торопим. Бежим, мчимся, опаздываем. А надо ли?

\*\*\*

Иногда кажется: живу вне времени. Не только сейчас, да года полтора уже. Живу не датами, картинками. Почки набухли, рябина покраснела, листья осыпались...

С цифрами, в принципе, дружу, с календарём их не очень соотношу. Иногда не всегда помню, какое сегодня число, считая дни недели, по-прежнему в голове воображаю школьный дневник (это через тридцать лет после школы). Пару раз не замечала смены календарного месяца: спокойно и уверенно ездила в городском транспорте по старому проездному. Сказать по правде, меня это абсолютно не напрягает.

Дни, как правило, запоминаю событиями, не датами. Говорят: «Дни тянутся, а годы летят». У меня летит всё: часы, дни, недели, месяцы... Лишь ночи иногда тянутся...

Хочется ли остановить время? Скорее нет, чем да. Есть особенная прелесть в любом времени. Но ритм жизни чуть замедлить иногда хочется, чтобы успевать замечать, как «почки набухли, рябина покраснела, листья осыпались...»

\*\*\*

Уличный паучок. Я не знакома с ним лично. Знакомств он избегает. Он просто ежедневно оставляет для меня в подарок свежесплетённую сеть у чердачной лестницы.

Особенно хороша паутина на рассвете. В капельках росы отражаются первые солнечные лучи, преломляясь в оттенках света, они распадаются на радужный спектр. А повисший в паутине жёлтый вишнёвый листок в этом ярком сиянии напоминает лёгкую солнечную яхту, легко плывущую по росному течению.

Маленький трудяга каждый день плетёт свою картину. Он почти не заметен для глаз, ему не важно, что кто-то каждый день разрушает его труд. Он просто делает своё дело.

Хотелось бы так же. Не паутину плести, нет. Незаметно делать своё дело, дружим в радость – себе в удовольствие.

\*\*\*

Туман над Муховцем. И такой плотный, что нет чётких границ между водой и берегом. Лишь неясные очертания. А вечером эти берега соединяла радуга, яркая, весёлая, словно алмазная. Цвета переливались в солнечных лучах, искрились, отражались в водной глади.

Так и в жизни. Краски меняются. Иногда даже один день может вместить в себя сотни оттенков палитры.

Порой настроение зависит от чужих слов. Особенно от слов в стихах. Они и окрыляют, и приземляют. Так было вчера. Хотелось перечитывать. Причём вслух, чтобы слышать эти плавные звуки, которыми так красиво обыграно моё имя. Казалось, с такими стихами нет в душе места грусти. Ан нет. Ночь принесла давно забытую бессонницу. А с нею, как обычно, мысли, грёзы, слёзы. И никуда мне от них по-прежнему не деться. Как ни беги в другие письма, стихи, миры.

Такой вот жизненный туман, вязкий и призрачный.



## Поэзия

---

*Дита ДЕЖИНСКАЯ*

---

### *Я читаю тебя*

\* \* \*

Питер пахнет уставшей от гонки Москвой.  
Двор Гостиный с Владыкино переплетая,  
Память строит мозаику бывшего мая,  
Два портрета неточно воссоздавая,  
Собирая осколки за нашей спиной.

Питер дымом горчит и шипит мостовой.  
Спас с Покровским собором сливая в картину  
Бесконечно глубокого старого мира  
Из купейных вагонов и месяцев длинных,  
Акварельно размытых холодной весной.

Питер держит меня в чуть дрожащих руках  
И качает, попутно напоминая:  
Все проходит, и вновь возвращается в мае,  
И находит осколки на старых местах.

\* \* \*

Моя весна не давится тобой  
И не бежит уже куда попало.  
Мне нравится, что мне тебя не мало  
И птицы не орут наперебой.  
Мне нравятся – октябрьская капель,  
И тишина внутри, и бег снаружи.  
Мой мир тобой не болен, не простужен,  
Не выбит из-под ног. Мой мир – свирель  
Из тростника: прост, мелодичен, чист.  
Готов к тебе – как акварельный лист.

\* \* \*

Тебе идут осенние цветы.  
И этот чай остывший в гулком доме.  
Как время на опасном переломе,  
Так в эту дверь переступаешь ты.  
Вкус Питера мешается с вином,  
С инжиром, чаем, виноградной охрой,  
Тебе идут асфальт – частично мокрый –  
И Летний сад за запертым окном.  
Мой Питер замер, крылья распутив.  
Всего секунда – и допьет Залив.



\* \* \*

Рисовать ее руки: перстни в синей эмали.  
Бесконечные перебирания ткани,  
Юбку серую, грубопомольную, в пол.  
Все дотошно подробно. И чашку. И стол.  
И бумаги. И книги. И коврик шелкОвый.  
И по-старому строго. И до нежности ново.  
Рисовать ее профиль. И проглаживать каждый  
Штрих, который, казалось, случался однажды..  
Рисовать. Бы. Уметь. Бы. Но ловкости мало.  
Написать – и запрягать в комод усталом.  
Рисовать бы тайком, чтобы люди не знали –  
На ладони моей перстень в синей эмали.

\* \* \*

Я читаю тебя – по страницам, по строкам.  
Оставляя на завтра иной разворот.  
То с надеждой пустой, то счастливым галопом,  
То стократ перечитывая эпизод.  
Я читаю легко, без боязни прочесть,  
Изумляясь, глотая, смакуя и веря.  
И гордясь тем, что мне, без сомнения, есть  
Место в книге: заметки и поле правее,  
Где писать можно даже карандашом.  
Ты сотрешь меня вскоре, но я там останусь,  
Легким-легким нажимом, невидимым швом,  
Как минутная суть, априорная данность.  
Я читаю тебя. Между строк. Между дней.  
В переплете безумно витиеватом,  
Где на форзаце нет гравировки моей,  
Но я знаю, как шить, чтоб сберечь каждый атом.

\* \* \*

Я тебя собирать научилась, как карточный дом.  
Рисовать наизусть, как по контурной карте акрилом.  
Возвращаясь к словам, как на мостике шатком к перилам,  
Не на шквальном ветру, а лишь просто испуганной сном.  
Сны щадить не вольны. Им уж бить, так немедленно в цель,  
В сгусток нервов, в живот, или больно – под самым коленом.  
Сны сбивают то с ног, то с принятия – попеременно.  
В кульминации нас возвращая обратно в постель.  
Я тебя собирать научилась по сотне причин,  
В мой запутанный мир аккуратно вплетая и пряча.  
То, что мы были Мы, – уже это большая удача.  
И не важно уже, что мы оба с тобой – палачи.

\* \* \*

Солнце кажется торжеством  
 Непростым, но вполне понятным.  
 Я себя назову потом  
 Самым сложным в твоём простом,  
 Самым ветренно-аккуратным.

Выползает на сонный двор  
 Солнце медленным интровертом.  
 Я тебя не зову в простор,  
 В непонятное, в свой узор,  
 В свои улыбки и кареты.

Солнце выползло и горит  
 Постной выпечкой неопрятной,  
 Не выкатываясь в зенит  
 И не смея идти обратно.

\* \* \*

Весна начинается этой ночью.  
 Не важно, ты хочешь или не хочешь.  
 Ты есть. И какое бы время года  
 Ни грызло. И как бы ни жгла погода.

Весна начинается этой ночью.  
 Ты спросишь – с чего бы ты знала точно!?  
 А я ощущаю твоё дыхание  
 Щекой. Совпадением. Пониманием.

Я трогаю влажный промозглый Невский  
 За воздух озябший и серо-пресный,  
 А жар от ладоней и губ статичных,  
 Мне кажется, выдаст меня с поличным.

Весна начинается. Наступает.  
 Я снова несусь и не вижу края  
 Попыткам, словам, испытанью крена.  
 Весна начинается. Непременно.

\* \* \*

Без неосторожных движений и махов  
 Теперь не ступать в направлении краха,  
 А тихо весну-настоящность вдыхая,  
 Всю прелесть рождения чутая до мая.  
 Под бой колокольный угадывать странность  
 Чужих тайных снов. И как милую данность  
 Принять все свои, проживая достойно.  
 Мне нравится то, как при этом спокойно,  
 Без неосторожных, без резких, без бóльших...  
 Спасибо за свет моих дней колокольных.

\* \* \*

Так ложатся в новой коже  
 В старую постель.  
 Так приходят с новой дрожью  
 В старый мир людей.  
 Так влетают в новых перьях  
 В старое окно.  
 Так решают снова верить  
 В доброе кино.  
 Ходят тихо, как в костеле,  
 Шепчут и молчат.  
 Нас не двое... нас не двое.  
 Много лет подряд.  
 Просто всех веществ обменом,  
 Всей палитрой нот  
 Мир друг к другу непременно  
 Нас с тобой ведет.  
 Заставляя в новой коже,  
 С новой формой слов,  
 Избегать чудно-похоже  
 Общих жарких снов.  
 Только то, что ночью явно, –  
 Утром как фантом.  
 Так хватают новый воздух  
 Онемевшим ртом.

\* \* \*

Я – твой клон. Перенос полноценной строки.  
 Продолжение твоё, как бы это ни слышалось гнусно.  
 Передавший тебя, как кубизм извращает искусство.  
 Я – твой ветренный клон, как бы ни были мы далеки.

\* \* \*

Мне Питер тебя протянул на ладони:  
То профиль рисует, то голосу вторит,  
То имя напишет на скользких ступенях,  
То в горле сжимает, то ноет в коленях.  
Насыщенно-сочной палитрой сентябрьской  
Мой Питер в твой Питер вливается ярко,  
Смешливо, порядочно, непринуждённо,  
В оттенках то красных, то желто-зеленых.  
То охрой, то теплой горчицей и мёдом  
Мой Питер играет с упрямой природой  
То в солнце, то в ветер, то в тени и тучи,  
То в трепетный вечер, то в полдень колючий,  
То просто притихнет и дома встречает  
Спокойной улыбкой имбирного чая.

\* \* \*

Тело всегда означает – жажда,  
Если, конечно, ты пил однажды.  
Если, конечно, ты клетки эти,  
Все наполнял, как играют дети:  
Жадно, взახлеб, до потери пульса,  
– Вспомни и выпрямись, не сутулься! –  
Как это – впитывать сочно-страстно  
Мир беспрепятственный и прекрасный.  
Помнишь, как сочно струилось лето?  
В свежесть ночную – и без жакета?  
В дождь без зонта! И без сна в дорогу!  
Мало – всего, остального – много!  
Имя твоё растворилось в Волге  
Утренней дымкой, как сон, недолгой.  
Только частицы блуждают где-то  
По цитоплазме другого лета.

\* \* \*

Ты снился мне красивым и моим.  
В привычной нерешительности. Даже  
В каком-то молчаливом эпатаже.  
И был туман. И был туман над ним.  
И был под ним. В тумане был туман.  
Как все у нас, неясно и нечетко.  
Ты снился мне то искренним и кротким,  
То дерзким, грубым, хающим капкан,  
Придуманный тобой. Охоты нет.  
В сыром лесу ты снился мне так ясно.  
Наш мир всегда останется прекрасным,  
Для нас с тобой. Как сказка. Как билет  
В один конец. В неясное. В туман.  
Ты снился мне таким, как ты мне дан.

\* \* \*

Снилась мне пузатая ротонда  
В Репино. И мы с тобой под ней.  
Был ноябрь. Такое время года –  
Пострашнее всяких январей.  
Ветер дул, а мы стояли вместе,  
Прижимаясь, прячась от воды.  
Ты шептал... что ты своей невесте  
Подарил красивые цветы.  
Ты был чей-то. Чей-то по-ноябрьски.  
По-дурачки. Странно и смешно.

За плечо держал меня по-барски.  
На заливе слишком близко дно...  
Я бежала. За буйки. За волны.  
До Кронштадта. Дальше по губе...  
Не тонула. И дышала ровно.  
Будто бы уже была на дне.  
Просыпаюсь. И гудит Апрашка.  
Все, как прежде. Лето. Солнце. Чад.  
Ты со мной. Но та ротонда наша  
Никогда не выпустит назад.



## Поэзия

---

*Анна ТОКАРЕВА*

---

*Анна Токарева родилась и живёт в городе Егорьевске Московской области. По образованию библиотечкарь. Стихи пишет с детства. Печаталась в журналах «Европейская словесность» (Кёльн), «Молодая гвардия», «Бег», «Мезия» (Болгария), «Поэзия», газетах «Московский литератор», «Московия литературная», «Губерния» и др. Автор двух поэтических книг: «Рябина в меду», «От одиночества до счастья». Член Союза писателей России с 2004 года.*

## ТУДА, ГДЕ ТРОПКИ УЗКИ

\* \* \*

Вопли звучат инородные  
Песням родным вопреки.  
Родина, солнце холодное,  
Плачут твои кулики.

Время в садах позаброшенных  
Спиливать гиблый сушняк,  
Вспомнить, что было хорошего,  
Вспомнить, что было не так.

Верится мне и не верится,  
В то, что поднимется рать,  
В то, что поникшее деревце  
Листья расправит опять.

Чтобы цвести безбоязненно  
В белом саду по весне,  
Чтобы и горе, и праздники  
Не насаждались извне.

\* \* \*

Сегодня в моде «кола» или пиво.  
Из горлышка. И часто – на ходу.  
Поглядывают блюдца сиротливо  
На эту повсеместную беду.

О, круг единомышленников узкий,  
Всё чаще мы чаёвничаем врозь,  
И вовсе не из блюдечка вприкуску,  
Как исстари в Московии велось!

Наполнены мы вечною печалью,  
Отучены единством дорожить...  
Купеческого вам – из иван-чая –  
Иль мятного покрепче заварить?

Мы – корешки больного корневища,  
Ветвиться бы нам вширь и в глубину,  
В Егорьевске, Коломне или Мытищах  
Губами жажды к блюдечкам прильнув!

\* \* \*

Перезимуем. Не впервой.  
Бывало хуже.  
Воспрянет буйный травостой,  
Теплом разбужен.

И будут плакать клевера  
В туманах белых:  
Негоже пахарям с утра  
Лежать без дела.

И буду я в своём саду  
Лелеять всходы,  
Лягушек слушать на пруду  
И черпать воду.

Прости меня, моя земля,  
Простите травы,  
Ведь я – не штурман у руля  
Больной державы.

Но я на маленьком клочке,  
Что возле дома,  
Не прозябаю в уголке,  
Впадая в кому.

Я здесь – и пахарь, и косарь.  
Мотыжу, сею.  
И всей душой, как предки встарь,  
Люблю Расею.

\* \* \*

Хочу туда, где тропки узки,  
И необъятен небосвод,  
Где так приветливо, по-русски  
Берёзка встретит у ворот.

Где росы дремлют на манжетках,  
Мохнатый клевер лиловат  
И где под крылышком наседки  
Пригрелся выводок цыплят.

Где кошка, рыжая Авдотка,  
Приходит в гости, как домой,  
Где на шести садовых сотках –  
Весь мир. И сложный, и простой.

\* \* \*

Топтался лучик золотой  
На подоконнике гостиной.  
Просилось солнцу на постой,  
Но я задёрнула гардины.

Я, воспевающая свет,  
Сегодня выбрала темницу.  
Шуршу обёртками конфет,  
Борюсь с желанием напиться.

Там, на свету, кровит заря.  
То – митингуют, то – парады.  
Сначала – выберут царя,  
Потом – свергать на баррикады.

А я – адамово ребро.  
И я хочу быть просто мамой,  
Растить детей, ваять добро,  
Любить надёжного Адама.

Сижу – отчаянья сестра.  
Застыла призраком бесплотным.  
На Красной площади – ветра,  
Ветра – на площади Болотной.

\* \* \*

Не по хитрому расчёту,  
Добровольно, без пинка  
Я хвалю своё болото  
С постоянством кулика.

Эта высохшая кочка –  
Не роскошный Аюдаг,  
Но она моя – и точка.  
И со мной – Иван-дурак.

Накормлю его брусничкой,  
Горьковатую чуть-чуть,  
Но с родной земли великой –  
В этом вся и соль, и суть.

Не по щучьему веленью –  
По хотенью моему  
Доживём до воскресенья,  
Побеждающего тьму!

### ПРОСТИТЕ МНЕ МОИ ПОТЕРИ

Пылают астры у забора,  
И листья жёлтые летят.  
Душе, заплаканному взору  
Так сладок ранний листопад.

Простите мне мою наивность,  
Все те, кто мудрости хотел, –  
Была наивность и невинность,  
И ангел тихо песню пел.

Простите мне мою жестокость,  
Все те, кто жаждал доброты, –  
Приходит к нам с годами зоркость,  
Когда сгорели все мосты.

Простите мне моё унынье –  
И я весёлою была!  
Не знала горечи полыни,  
Но выжгло душеньку дотла.

Как пахнут яблоки и сливы,  
Блестят румяные бока!  
Я буду сказочно счастливой.  
Я знаю это. А пока –

Надеюсь, жду, пытаюсь верить,  
Что не погаснет Божий свет.  
Простите мне мои потери  
Все те, кого уж рядом нет!

\* \* \*

Зять недолюбливает тещу,  
Сноху, как водится, – свекровь,  
Ругает дачник, лоб наморщив,  
Неурожайную морковь.

Так хочет верить президенту  
Народ, запутанный вконец,  
И оформляет алименты  
На сына немощный отец.

Вновь омывается планета  
Кислотным ливнем с высоты,  
А я ищу полоску света  
Среди крошечной темноты.

### КАЛАЧИ

Ты, буревестник, не кричи  
Там, между тучами и небом!  
Я наскребла на калачи  
Чуть-чуть муки – и буду с хлебом.

Едва дыша – ресницы вниз –  
Воркую тихо над мукою.  
Крикливый мир, утомонись!  
Сегодня хочется покоя.

Не разрешит моя стряпня  
Проблем взъерошенной эпохи.  
И вы тусуйте без меня,  
Шуты, торговцы и пройдохи.

Приглажу скатерти залом,  
Запарю чаю с бергамотом  
И крепко-накрепко узлом  
Свяжу житейские заботы.

Негоже ныть от неудач!  
Я не вприглядку пью, не с «таким»:  
Ещё с изюмом мой калач  
И даже – с зёрнышками мака!

А завтра, выйдя за порог –  
Не всё же прятаться в берлоге, –  
Пойму: из множества тревог  
Мои – не худшие тревоги.

Я так устала от набата,  
От состояния войны,  
От цепких пальцев злого мата  
На тонком горле тишины.

Кусают злей осенней мухи  
И отравляют нашу кровь  
Гнилые челюсти чернухи,  
Испепеляющей любовь.

Любовь и кровь... – весьма избито,  
Но рифмы новой не хочу.  
Кислотным дождиком омыта,  
Тянусь к спасителю-лучу.

### КУЛИЧ

Тесто мяли и месили  
Кулаком и пятернёю,  
По бокам его лупили –  
И оставили в покое.

Возле печки, в тёплом месте,  
Принакрытому тряпицей,  
Что-то скучно стало тесту  
В одиночку пузыриться.

В темноте, в плену посуды,  
От ванили задыхаясь,  
Тесто думало о чуде,  
Любопытно поднимаясь.

Было тесту томно, сладко,  
Ведь изюмными глазами  
Оно видело лампадку  
На стене под образами!

Тесто замерло в смиренье,  
Когда в печь его сажали,  
Чтоб в Христово Воскресенье  
Куличом его назвали!

### ПРИМЕТЫ

Облетели до срока  
И берёза, и вяз.  
Что косишься, сорока,  
Чёрной бусинкой глаз?

В любопытстве сорочьем  
Есть желанье – украсть.  
Чем умишко короче,  
Тем навязчивей страсть.

Я – не глупая птица,  
Но в шкатулке резной  
Потаённо хранится  
Унесённое мной:

Гладкий жёлудь – с Тверского  
Да с Цветного – каштан...  
Ничего воровского,  
Так что совесть чиста.

Это просто приметы  
Облюбovaných мест.  
Это прошлого лета  
Восклицательный перст.

Жёлудь выпуклым боком  
Призывает: «Погладь!»  
И стрекочет сорока  
За окошком опять.

### ЗОЛОТАЯ ПЫЛЬЦА

Одуванчик-трава, оккупант огорода,  
Улыбается мне у ступенек крыльца.  
Я вдохну аромат горьковатого мёда,  
И напудрит мне нос золотая пыльца.

Золотая пыльца – на весёлых веснушках.  
Я стеснялась их зря, а теперь не стыжусь,  
Потому что сейчас ты сказал мне на ушко,  
Что лицом я светла, как пресветлая Русь.

Млечный сок на руке оставляет кружочки.  
Ты целуешь ладонь, а потом локоток,  
Ты губами скользишь от ключицы до мочки...  
И роняю в траву я смущённый цветок.



## Новое имя

---

**Валентина ДРОБЫШЕВСКАЯ**

---

*Валентина Станиславовна Дробышевская родилась 17 октября 1972 года в деревне Большая Rogoznica Мостовского района Гродненской области. Окончила филологический факультет Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина. Заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа №168 г. Минска». Педагогический стаж – 27 лет.*

*В 2017 году победила в Международном Пушкинском конкурсе учителей русского языка, является лауреатом Международной Пушкинской премии 2017 года. Печаталась в газетах и журналах: «Советская Белоруссия», «Настаўніцкая газета», «Літаратура і мастацтва», «Роднае слова», «Русский язык и литература» и др. Автор трех поэтических сборников. Член Союза писателей Беларуси.*

*Живёт в Минске.*

## А значит, будем жить

### ПОЕЗД, КОТОРЫЙ УХОДИТ В НОЧЬ

Запах вокзальный... Гнетёт опоздание...  
В сердце волнение не превозмочь...  
Ждёт на перроне меня на свидание  
Поезд, который уходит в ночь.

Пляшет кондуктор под странную дудочку –  
Так бы не снег, а корицу толочь...  
Мне б обогнать на одну минуточку  
Поезд, который уходит в ночь...

Время уехало. Эхо на замети  
Шлейфом по рельсам... Пророчье не пророчье...  
Линию жизни рисует на памяти  
Поезд, который уходит в ночь.



\*\*\*

\*\*\*

Когда ни выхода, ни входа,  
 когда ни день, ни ночь,  
 Когда погода – непогода  
 И ни сюда, ни прочь...

Когда ни то ни сё достанет,  
 Себе и январю  
 В гранёном стареньком стакане  
 Я кофе заварю.

За договор! Глотаем память  
 Или слепую грань?!  
 Я день и ночь смогу оставить –  
 Ты утро устакань!

В архиве сделок выше крыши!  
 Седому январю  
 Ради любви, что ты напишешь,  
 Я душу отдаю

Без выхода совсем, без входа.  
 Ещё раз заварить?!  
 Глоток – весна. Глоток – свобода!  
 А значит, будем жить!

Сергею Есенину

Умываюсь твоей синевой по утрам,  
 С золотишкой твоей по ночам засыпаю...  
 Откровенных надежд пошатнувшийся храм  
 Не молитвой – стихами спасаю!

Это было вчера или будет потом:  
 Расчленившийся атом внутри и снаружи...  
 Быть поэтом – не значит остаться рабом  
 Зарифмованных выюг и ритмических кружев.

Я смотрю на тебя через век, через миг,  
 Через ясное небо и тёмное поле...  
 Закрываю глаза – и глотаю язык...  
 Ощущение вкуса осознанной боли!

И несётся душа в синеву напролом,  
 Потому что дышать не устанет стихами,  
 Потому что пером созывается сонм  
 Светлых ангелов над облаками!

### ЧТОБ У НЕБА ОСТАТЬСЯ В ГРУДИ

Замолчал словопад над холодными зимними строками.  
 На рождественский лад не настроен сердечный мотив.  
 Кони шли невпопад, кони белым по синему цокали  
 Сотни наугад, чтоб у неба остаться в груди.

Разрядилась гроза – побежала счастливая конница.  
 Осенила рука новогодние строки крестом,  
 И молилась в окне неприкаянной жизни бессонница  
 За того, кого ждёт, за того, кто ещё не знаком.

Расскажи, расскажи низким тембром про очень высокое!  
 Расскажи, расскажи, незнакомец, что видел в пути!  
 – Кони шли невпопад, кони белым по синему цокали  
 Сотни лет наугад, чтоб у неба остаться в груди...

Поцелуй, поцелуй красным солнцем седое молчание!  
 Поцелуй, поцелуй светлым сердцем весенний рассвет!  
 Годы долго вели нас с тобою на это свидание,  
 Годы звали судьбой вереницу страданий и бед...

Разрядилась мечта – появилась красивая радуга,  
 Отразилась кольцом, совершила небесный обряд –  
 Улыбнулись глаза, чтобы каждое облачко радовать,  
 И посыпался счастьем горящих сердец словопад!

**СЕРДЦЕ УСТАНАВЛИВАЕТ СВЯЗЬ**

Умоляю, дайте номер мамы!  
 Мне так надо с ней поговорить!  
 Душу запоздалыми словами  
 Приоткрыть, чтоб поблагодарить

Маму! Мамочку мою родную  
 За любовь! И выдохнуть: «Прости!»  
 Рассказать, что больше не реву я  
 На обессердеченном пути!

Рассказать, что крылья помогают,  
 Если трудно, над жестоким жить!  
 Рассказать, что розы расцветают  
 Те, что не успела подарить...

Рассказать?! Дыхание услышать!  
 Просто вместе с мамой помолчать!  
 Снизойдите! Вы же вечно СВЫШЕ!  
 Что вам стоит номер мамы дать?!

В ленте по кривой кардиограммы –  
 Аритмия. Нить оборвалась...  
 Не доступны райские программы –  
 Сердце устанавливает связь!

**ВЫМОЛИШЬ?**

Нежно и страстно...  
 Вся без остатка...  
 Горько и сладко...  
 Выдержишь?

Завтра? Не знаю...  
 Утро – загадка...  
 Смялась тетрадка...  
 Выпрямишь?

Губы не воздух...  
 Тело не бремя...  
 Вечное время...  
 Выкроишь?

Врознь и со всеми...  
 Поле и семья...  
 Ночь на коленях...  
 Выстоишь?

Вечер-загадка...  
 Жизнь без остатка...  
 Горько и сладко...  
 Вымолишь?

**ВСЕГО ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ ТОМ**

Я уснула на 135-й холодной странице.  
 Просто так. Распласталась. Ничком.  
 Удивительно!.. Ницше! Простите!  
 Фридрих Ницше!.. За стенкой стучат молотком...  
 Философию гвоздика рьяно вбивает строитель.  
 Философия сна афоризмом висит над страницей.  
 Философию кофе иду разбавлять молоком...  
 Ком. Вокруг щитовидки. Ком.

Философию лета поют возбуждённые птицы.  
 Философию взрослости школьники пьют за ларьком.  
 Философию рынка считают дрожащие лица.  
 Философией такта улыбка спешит извиниться...  
 Ком. Под левой лопаткой. Ком.

Метафизика... Прав! Удивительно! Ницше! Простите!  
 Просто так... Под замком. Молотком... Языком не знаком.  
 Опускаются веки на 135-й странице.  
 Пусть поспит и пусть ничего не приснится.  
 Том. Всего только первый ... том.

## Новое имя

---

*Михаил МОКРЕЦОВ*

---



*Михаил Мокрецов родился в 1991 году в Минске. Заочно учится на филологическом факультете БГУ по специальности литературно-редакторский работник. Прошел срочную службу в органах пограничной службы. Работал в «Белорусской строительной газете». В 2017 году проходил стажировку в «Литературной газете» (Москва).*

*Живет в Минске.*

## Одно крыло

\*\*\*

*«И снова в душе твоей нет ни души...»*

Анатолий Аврутин

Уплываем. Уходим. Прощаемся.  
Остаёмся молчать за стеной  
и, стена молитвы, кончаемся –  
обоюдной обидой тугой.

Расстаемся на створки разбитые,  
улыбаемся в раме пустой,  
и сердца уже неприкрытые –  
останавливаются на простой.

Кто заплатит за расстояние,  
нас расставившее по углам?  
Ты же знаешь, за расставание  
платит только оставшийся сам...

Пусть печаль засвербит тоскливо  
и душа расправит свой крест.  
Ты взирай на всё молчаливо –  
для тебя не осталось мест.

\* \* \*

И мы дрожим, дрожим от слабости  
наш каждый шаг – вираж пера.  
И мы молчим, молчим от радости,  
а будущее – как дыра,

где пропадает наше прошлое,  
засаленное, как халат,  
и наставление дотошное  
из брошенных отцовских хат.

Порочное перерастает в прочное,  
движение идёт в союз,  
тепло не может быть заочное,  
я лучше заново влюблюсь

В тебя немножечко иную,  
без проволочек и нитья,  
и лишь к судьбе тебя ревную:  
я – ваше общее дитя.

\* \* \*

Без судьбы всё же лучше идти по земле,  
в твою душу не давит, не впивается лямка.  
Ты не ждёшь, ты не чаешь удачи извне,  
не пугают тебя ни примета, ни галка.

Ты идёшь бездорожной пустующей мглой,  
свою ночь провозжая сухими глазами,  
и, к холодной звезде прикасаясь рукой,  
понимаешь: свой рок мы придумали сами.

Видно, прав был Лука, докатившись до дна,  
что лишь лжи доверяем мы полной душою.  
И в мудреных словах высветлялась вина –  
да, нам страшно остаться собою

и идти по земле без судьбы, наугад,  
без любви, без идей, не пеняя на Бога,  
и прозреть, и понять, и сказать невпопад:  
наша жизнь путешествие, а не дорога.

## ОДНО КРЫЛО

Каштановая ночь, прокуренные шторы,  
в сосновой раме дребезжит стекло.  
Остановись мгно.. – но время истекло,  
в упругие тела вонзая шпоры.

Скрипит паркет под твоей лёгкой ножкой,  
с небес балкона возвращаемся домой,  
наполненные звёздами и тьмой,  
продолжить бег мещанскою дорожкой

и не бояться повторять круги...  
В одно крыло срастались две руки.

## ВОЕННО-ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕЙЗАЖ

Ветер выгнул сосны арками,  
лес пошёл наперекор,  
выезжали тучи танками,  
лязгал гусеничный хор.

Дождь обрушился патронами  
на сухую плоть земли,  
воздух, выстеганный стонами,  
рассыпался на угли.

Искорёженные рожи  
пней, разбросанных в тылу,  
с мясом вырванная кожа,  
травы, стёртые в золу.

Ветки бились врукопашную,  
раздирая в кровь кору.  
Жизнь дымилась смертью страшною  
в дикий час в глухом бору...

А посаженные парки  
в толще каменных столиц  
нежно обнимали лавки –  
им не ведом шум границ!

## Новое имя

---

**Александр ГУЩИН**

---



*Александр Гущин родился в Ленинграде в 1963 году. Автор двух поэтических сборников. Лауреат Первого открытого фестиваля поэзии «Под созвездием Пегаса» («Центр культурных программ», Радио «Петербург» и Санкт-Петербургский Дом книги). Член Российского межрегионального Союза писателей.*

*Живёт в Санкт-Петербурге.*

## Ангел мчится...

\* \* \*

Ангел мчится, расправив над миром свободные крылья, –  
Блеском солнца труба золотая сияет в руках, –  
Над домами, покрытыми серой и будничной пылью,  
Над дворцами последними – путь исчезает в полях.

То дорога на небо, в которую слиты все реки,  
То дорога в глубины бескрайних свинцовых морей.  
Что бессмертнее: память ли о человеке,  
Или память о песне, с которой жить нам светлей?

Что прекраснее: небо ли это, всесветное чудо,  
Эти сосны-лучины и реки-прожилки у ног  
Или эта земля, что звериною шкурой отсюда  
Распласталась вся в шрамах свободой разбитых дорог?

Что страшнее насилья над ищущим духом,  
Что большее утрат под гранитною точкой столба?..  
Люди ждут, но не верят, поскольку обижены слухом  
И не знают, как звонко поёт золотая труба.

\* \* \*

Жизнь моя пронеслась, как любовь запоздалая, сразу:  
Посмотрел в небеса и чужую увидел звезду...  
Весь я, Господи, твой...  
Но послушал свой глиняный разум  
И за это теперь только к тени Твоей припаду...

Пропаду, растворяясь в свету, в той долине,  
Где покой обретёт не сознание, не тело моё,  
А душа,  
Что узнала пронзающий крик журавлиный,  
Когда цепкая осень встала корнями в жнивье.

И тогда тот, узнавший, что спать невозможно,  
И собравший в одно всё, что можно в душе расколоть,  
Вдруг поймёт, – бедолага, процентчик, завязанный безбожник, –  
Как безмерно его  
Всепрощающий любит Господь.

\* \* \*

Запуржит, зашуршит,  
И закружит, и сразу же бросит...  
Город сотней огней догорает в ладонях судьбы.  
Но о чём, закружив, меня ветер так жалобно просит? –  
«Оставайся, сыграй и уйди в перепутья ходьбы –

По тропинкам, по слякоти,  
По непонятным приметам,  
По дорогам, где ноги подтаявший снег изомнут».  
Ветер, ветер зимы – не найти уходящим ответа,  
И деревья протяжно и нежно хоралы поют...

Замолчите, деревья, –  
Не дайте отведать мне боли...  
Ветер, ветер усталый, – усни и меня не гони...  
Выводите тропинки в просторное белое поле,  
Где огромное небо и в мареве смутном огни...

И тогда припаду к колее придорожной разбитой  
Воду талую пить,  
Как вино зелено...  
В сказке старой старухе осталось корыто,  
Старику же – дорога за рыбкой волшебной на дно!

\* \* \*

Мне возвращаться к жизни поздно.  
Вокруг меня сплелись, скользя,  
Кольцо воды, текучий воздух  
И очень тёмная земля.

Всепожирающее пламя  
Всё уравнило до звезды,  
Где память – облака и камни  
И вод текущие сады...

И звон пронизывает плёсы  
И всем несёт благоую весть  
О том, что Бог – старик курносый.  
Он справедлив, и выбор – есть.

### СЕРДЦЕ РОДИНЫ

В озёрах сердце Родины застыло,  
Под тяжестью снегов погребено...  
Все русское,  
Что было сердцу мило,  
Застыло здесь, и время истекло...

Забыты песни, слов не помнят боле...  
Здесь мёртвые страдают за живых...  
Живые спят.  
Сутробы стынут в поле,  
Под волчий вой метель пуржит на них.

Сольюсь с метелью  
Путником незванным,  
И сердце Родины откроется, как клад:  
Нет ничего прекраснее обманов  
И ничего счастливее утрат.

### ПРИЗВАННЫЙ

Пульс Бога – бег границ мятущейся Вселенной:  
Исчезнут... и опять слетаются сюда...  
Я слушаю свой пульс и мыслью дерзновенной  
Бегу за сердцем вслед...  
Настигну? Никогда!

Среди исконной тьмы чудесной каплей влаги,  
Запущенным волчком вращается Земля.  
Полёт над бездной строг –  
Ни воли, ни отваги:  
Привергнута она источнику огня...

Я призван в этот мир – творение прекрасно!..  
Пусть смертна плоть моя, зато свободен дух.  
Мир истерзал меня, но это не напрасно:  
Мы сохраним овец,  
Когда придет пастух...

Как хочется опять  
Припасть к истоку веры!  
Пульсирует душа, как серебро воды,  
Для жизни нет границ, и нет у смерти меры,  
И нет иных дорог сиянию звезды...



## Новое имя

---

*Оксана ВАЛУЙ*

---

*Оксана Валуй родилась 4 декабря 1981 года в г. Береза Брестской области. После окончания школы поступила на экономический факультет Брестского государственного технического университета, который закончила в 2004 году с красным дипломом. Писать стихи начала еще в школе. Первая публикация была в областной газете «Заря» в 2003 году. В 2013 году участвовала в республиканском фестивале «Мы рождены для вдохновенья». В 2014 году вышел первый поэтический сборник О. Валуй «Постучи в мое сердце».*

## Целуется осень с рассветом

### ВЕЧЕР

С летним ливнем за руку навстречу  
Помрачневшим от грозы полям  
Приближался августовский вечер,  
Кланялся небесным кораблям.

Уносились тучи за ветрами.  
Над собором в дымных облаках  
Оттенялась ломкими чертами  
Тихая заря на куполах.

Стоит только взглядом прикоснуться  
И вдохнуть вечерний аромат –  
Стройной песни звуки донесутся,  
Покружат...

К рассвету замолчат.

\*\*\*

За миг сквозь пену облаков,  
Любуясь царственным закатом,  
Отживший день так безвозвратно  
Скользнет с янтарных берегов.

Июньский вечер балдахинном  
Укроет сонные сады,  
Кустов нестройные ряды  
И, звездной выси плен окинув,  
Шагает в зеркале воды.

Акаций серьги тихий ветер  
Качает в облуневшем сне.  
Покой и тишь наедине  
Росу омоют на рассвете.



ПО СЫРЫМ ТРОТУАРАМ

По сырым тротуарам – ветра,  
Дождь утюжит безликие окна.  
И продрогла земля, и промокла,  
С серым небом проспав до утра.  
Госпожа запоздалая осень  
С терпким запахом мокрой листвы  
Так загадочно красит мосты,  
На перила завесу набросив.

По сырым тротуарам – вода,  
Дождь туманит безмолвные лица.  
Грусть седая на плечи ложится,  
Как ложатся на плечи года.  
Осень... Осень... Кругом непогода  
Прячет желуди в жухлой траве.  
И узор из листвы на ковре –  
Одинокая воля, свобода.

По сырым тротуарам – песок,  
Дождь утюжит холодные крыши.  
И усталость размеренно дышит  
От бездействия на волосок.  
Горький воздух в слепом ожиданье:  
Устремленная туч быстрота  
Унесет в осень, где Красота  
Покоряет собой Мирозданье.

\*\*\*

Была свободна, независима, прекрасна.  
Нескромная. Но вся твоя.  
И пламя встреч незабываемых напрасно  
Пылало! Так пылало!

Но угасло.

Твоя вина? А может быть, моя?

Любовь мою, закованную в цепи,  
Ты терпеливо ждал, искал, берёг.  
Безумного романа эпилог  
От пламени оставил только пепел..  
Его рассыпал ветер на порог,  
Вдаль унося навек прощальный трепет.

\*\*\*

Я свободна по праву рожденья –  
Никому ничего не должна.  
В жар камина подброшу поленьев,  
Чтоб согрелась душа, отошла  
От бесчисленных путаных мыслей,  
Что, как тень, надо мною повисли.

Я свободна от штампа «виновна»,  
Как я чувствую, так и живу.  
Осуждать так легко осужденных!..  
На примятую ветром траву  
Упадет мой каштановый волос  
И грозы разразившейся голос.

\*\*\*

Я знакома с такой тишиной,  
Что под вечер ложится на плечи.  
Затухают зажженные свечи,  
Медлит время, ползет стороной.  
Старой клячей бредет темнота,  
В тишине напряженно вздыхая.  
Бесконечная полночь глухая,  
Над безмолвной землей пустота.

Я знакома с такой тишиной,  
Влажной, ломкой, спешащей под утро,  
Где роса заискрит перламутром –  
Блеском радужным и новизной.  
На рассвете плывут облака,  
Поднимаются выше и выше..  
Лишь невнятную речь я услышу –  
Пчел, гудящих у березняка.

\*\*\*

Целуется осень с рассветом.  
Туман – босиком по воде.  
Сегодня я в стоворе с ветром,  
Я с ветром сегодня везде.

Я с ним на деревьях и крышах,  
На гроздьях горящих рябин,  
Я неба касаюсь чуть слышно,  
Я словно наполнена им.

Зеленым глазам улыбнется  
Желтеющий клена листок.  
Как ломтик далекого солнца,  
Согреть мою душу он смог.



## История словесности

*Мария ЖИГАЛОВА*

*Мария Петровна Жигалова – доктор педагогических наук, профессор кафедры белорусского и русского языков Брестского государственного технического университета, действительный член АПСН РФ, Заслуженный учитель Беларуси.*

### **СУДЬБА И ТВОРЧЕСТВО ПОЛЬСКИХ ПОЭТОВ БРЕСТСКО-ПОДЛЯССКОГО ПОГРАНИЧЬЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ**

*«...наследие великого поэта принадлежит  
всем славянским народам, всей  
Европе, всей земной цивилизации».*

**Из статьи А. Мальдиса «Гении не делятся»  
(газ. «Советская Белоруссия» от 23.12.2008).**

Брестско-Подляское Пограничье – удивительный край, где в разные исторические периоды земли принадлежали то Польше, то России, то Украине. Так, «почти 170 лет (с 980 г. – по 1150 г.) Брестчина принадлежала Киевской Руси, 216 лет (с 1150 по 1366 г.) – Волынскому и Галицко-Волынскому княжеству, потом Королевству, 203 года (с 1366 по 1569 г.) – Великому Княжеству Литовскому, 206 лет (1569–1795 гг.) – Речи Посполитой обоих народов, 120 лет (1795–1915) – России, 9 месяцев (с 09.1915 по 05.1916 г.) – Австро-Венгрии, 14 месяцев (с 05.1916 по 12.11.1918) – Германии, 1 год (1918–1919) – Украинской Народной Республике, 19 лет (1920–1939) – Польше, в общей сложности около 50 лет – СССР (из них с 1941 по 1944 – Германии). И только с 1991 года – Республике Беларусь, когда она стала самостоятельным и независимым государством» [10, с. 8-9].

Пограничье, по мнению И. Бобкова, это «пространство, прилегающее к границе, соединённое и связанное границей, пространство, для которого именно граница является организацией, принципом и центром притяжения» [4, с.133 ].

Следует подчеркнуть, что сегодня полиэтничность региона способствует «смягчению» отношений между людьми различных национальностей и вместе

с тем развитию культуры всех этнических сообществ. В равновесном состоянии здесь находится «свое» и «чужое». Оно не обладает экстремальностью. «Свое» выступает как патриотизм, а «чужое» – как интернационализм. Между представителями разных этносов имеется весьма широкая шкала, на которой откладываются их реальные чувства и помыслы. Такое равновесие наиболее оптимально для региона, ибо свидетельствует об историческом здоровье, о способности этнических поляков, русских, украинцев устанавливать и укреплять нормальные межэтнические связи.

Давно замечено, что кроме национального самосознания важными социокультурными детерминантами «этничности» являются происхождение («кровь»), религия, язык и затем обычаи, обряды, традиции. В свое время Юзеф Обрембский, рассматривая этнические проблемы Полесья, писал: «То, какой нацией являются жители Полесья, определяют не те или иные языковые или этнографические характеристики, но, прежде всего, явления национальной жизни... их национальное сознание» [13].

На наш взгляд, именно национальное самосознание должно быть главным критерием в определении принадлежности к той или иной культуре на Белорусском Полесье. В связи с этим данная проблема должна рассматриваться во взаимосвязи с общей характеристикой его социокультурных детерминантов, среди которых выделяются национальное государство, система образования, этническое окружение, национальные семейные традиции, язык, наличие памятников национальной истории и культуры и отношение к ним, церковь и ее отношение к этническим и культурным проблемам. Но это поле исследования для историков, социологов и др. Нас же будет интересовать лишь литературоведческая сторона этого многонационального региона, который богат такими именами художников слова, чьи судьбы в силу разных жизненных обстоятельств креативно соединили в себе многие культуры.

Проблема отражения мультикультурности в судьбе и творчестве польских поэтов, чьи произведения были написаны о Брестско-Подляском Пограничье в разные исторические периоды на польском и русском языках, в литературных исследованиях практически не рассматривалась.

Используя лишь доступный текстологический материал, опубликованный в различных современных изданиях на русском, белорусском, польском и украинском языках [1; 2; 3; 9; 11; 12; 14; 23; 24], мы попытались проанализировать отдельные ранее неизвестные русскоязычному читателю произведения польских поэтов, живших некогда в брестско-подляском регионе, а также выявить их отношение не только к этнической культуре, но и к культурам других народностей, подчеркнуть то национально-особенное и общечеловеческое, без которого невозможна консолидация в любом мультикультурном обществе. Мы учитывали при этом, что наследие всякого великого поэта «принадлежит всем славянским народам, всей Европе, всей земной цивилизации» [22], что «гении не делятся».

Свой выбор мы остановили на судьбе и творчестве Ю.И. Крашевского [1; 3; 12; 24], В. Коротынского [20], Р. Капустинского, имеющих прямое отношение к Брестско-Подляскому Пограничью.

Обратимся к творчеству Юзефа Игнация Крашевского – известного польского писателя, основателя польского романа, критика, литературоведа, фольклориста, этнографа, издателя, редактора, философа, историка, краеведа, музыканта,

художника, искусствоведа, титана мысли. Все его труды составляют более 600 томов, а имя его занесено в книгу рекордов Гиннеса. Вот что пишет известный варшавский журналист Антоний Трепинский в своей книге «Юзеф Игнаций Крашевский» [2], посвящённой творчеству поэта: «Крашевский оставил наследие, размеров которого никто в целом до сих пор не оценил. «Отец польской библиографии», Кароль Эстрайхер, при двукратном подсчёте названий произведений писателя, на которые опирается энциклопедическая информация, подаёт в первом случае (1879), что Крашевский написал или издал отдельно 346 произведений в шестистах томах, а во втором (1887) – что произведений было 312, а томов 630». Добавим, однако, что объём этот увеличивают неучитываемые многочисленные публикации в журналах и несколько десятков тысяч писем и литературной корреспонденции. К этому прибавим сборники, начиная с «Атеней», где произведения, написанные им самим, насчитывают до 120 тысяч страниц...

Обработанная в последние годы в Институте литературных исследований ПАН обширная библиография Крашевского носит скромное название «Библиографический очерк Ю.И. Крашевского» (1966). В предисловии авторы утверждают, что «полная библиография творчества едва ли не самого плодovitого в мире писателя останется на долгое, очень долгое время пожеланием и мечтой, если не вообще утопией».

Юзеф Игнатий родился 28 июля 1812 года в Варшаве, а детские годы провёл в д. Долгое, что недалеко от г. Пружаны (ныне Беларусь, Брестский район), в имении своих родителей. Попытка проанализировать жизненные и творческие связи Ю. И. Крашевского с Беларусью была сделана около тридцати лет назад историком Геннадием Кохановским в его статье «Беларусь – яго калыска» [19], в которой он даёт некоторые биографические данные. Он называет такие произведения, как «Пинск и его окрестности», «Воспоминания о Полесье, Вольни и Литве», «Картины жизни и путешествий». Важно подчеркнуть и то, что в статье Г. Кохановский упоминает и периодический сборник «Атеней», который выпускался Ю. Крашевским в течение десяти лет в Вильно и посвящался проблемам истории и культуры, общественно-политической жизни земель, что составляли некогда Великое Княжество Литовское. Здесь печатались материалы и художественные произведения антикрепостнической направленности, велась полемика с реакционными взглядами деятелей «Западного края». Здесь было напечатано и произведение самого Ю. Крашевского «История Савки», фольклорно-этнографические материалы, такие как: «Народные песни, собранные на Піншчыне» Р. Зянькевіча, «Матэрыялы да статыстыкі і этнаграфіі Гродзенскай губерніі» Ю. Ярашэвіча. Вот что пишет Г. Кохановский о Ю. Крашевском: «Крашэўскі заўжды знаходзіўся ў гушчыні падзей і ў асяродзі сяброў – пісьменнікаў і вучоных, з якіх нямала было выхадцаў з Беларусі. Менавіта яго навуковая дзейнасць у кантэксте развіцця беларускай рэальнасці можа і павінна стаць тэмай асобнага даследавання... Крашэўскі зацікаўлена вывучаў і беларускую старажытнасць. Ён першы на мясцовым матэрыяле пацвердзіў правамернасць тэорыі дацкага археолага К. Томсена «о трох эпохах»: каменю, бронзы, жалеза. Яго самае галоўнае адкрыццё – плаўнасць пераходу з адной эпохі ў другую... Археалогію, этнаграфію, фальклор Крашэўскі ўмеў сапаставіць і спалучыць дзеля вырашэння найважнейшай праблемы – паходжання славян. Зноў жа ён першы выказаў гіпотэзу, што славяне прыйшлі з захаду пад узмоцненым, нямірным націскам кельтаў. Цэлае стагоддзе яна, бадай, нікім не

паўтаралася. Усе схіляліся да думкі, што ў этнагенезе славян адбывалася міграцыя плямёнаў з поўдня. І вось сучасныя вучоныя В.В. Сядоў, М.А. Ціхамірава на аснове найноўшых звестак робяць вывады, блізкія да гіпотэзы Крашэўскага» [19].

Многое сделано и в истории издательской деятельности благодаря Ю. Крашевскому. Он поддерживал исследования учёными памятников материальной и духовной культуры. Так, книга К. Тышкевича «Вілія і яе берагі» была издана на средства Ю. Крашевского. Нельзя обойти вниманием и тот факт, что многие белорусские учёные-народоведы, такие как Р. Зянькевіч, А. Кіркор, А. Рыпінскі, Я. Тышкевіч, У Сыракомля і др., были подвержены влиянию личности и творчества Ю. Крашевского. Да и польские писатели: Э. Ажешко, М. Радевич, А. Плуг и др., чья жизнь была тесно связана с Беларусью, продолжали исследовать белорусистику.

Что касается поэзии Ю.И. Крашевского, то до последнего времени она оставалась совершенно неизвестной белорусскому читателю, и только два стихотворения были переведены Я. Купалой на белорусский язык: «Дзед і баба» и «К\*\*\*». Существует также напечатанный в газете «Наша доля» перевод стихотворения «Пан і мужык» неизвестного автора, который обозначен под псевдонимом «Будзіцель».

Наше обращение в творчестве учёного-титана, культурного и общественного деятеля – свидетельство актуальности его заслуг перед белорусской культурой, о которой он так заботился и которую ценил. Так, сборник Ю. Крашевского «Дары пилигрима» включает раздел «Над Нёманом, над Вилией...». В него входит стихотворение «Деревня» [17, с. 47-48], посвящённое Полесью, которое поэт называет «милым краем», а деревню в милом крае «родимым уголком», вскормившим и взрастившим лирического героя. Деревня ассоциируется у него с «седой матерью», которая благословит своё дитя на добрые дела, провожая в самостоятельную жизнь, в «мир чуждый», где «закрутит меня злой вихрь».

Вот что вспоминает брат поэта Каэтан Крашевский: «Долгое было настоящей небольшой типичной усадьбой зажиточного шляхтича, ... с отборными лугами, окружающими поля и усадьбу... Двор первый – большой, с хозяйственными постройками на нём, другой, меньший, – у дома, тут же парк и озеро, длинные каналы для осушения местности, домик небольшой, но мы в нём мило целой компанией помещались... Наше любимое Долгое, хотя это уголок малый, было всегда оживлённым, во время каникул или праздников в течение года очень часто вся наша компания там собиралась... Юзеф часто читал вслух свои произведения, играл на фортепьяно и рисовал в основном пером, воодушевление в нём и жизнелюбие были невероятные; по его примеру Люциан также рисовал, я начал учиться музыке и немного рисовать» [16, с. 91-92].

О том, что Ю. Крашевский не чужой человек белорусам и жителям Брестско-Подляского Пограничья, в частности, говорит хотя бы то, что на торцевой стене одного из домов, стоящих сегодня вокруг главной площади города Пружаны (Брестский район), висят три огромных портрета знаменитых личностей, прославивших когда-то нынешний Пружанский район. И на одном из этих портретов изображён Юзеф Игнаций Крашевский, судьбой которого имеют право гордиться пружанцы. Заметим, что на территории современной Брестчины «около полутора веков проживала не только многодетная семья Яна и Софьи Крашевских и их потомки, но и их многочисленные родственники. Родственниками Крашевских по материнской линии были и первоначальные владельцы нынешнего музея-усадьбы

«Пружанскі палацык»\* Валентий и Герминия Швыковские. Многие документы, хранящиеся в архивах Беларуси, ещё ждут своих исследователей.

А пока же научно обоснованные сведения о Долгом Крашевских и связях самого Юзефа Игнация с родительским гнездом и Беларусью полностью отсутствуют в исследованиях даже польских учёных» [16, с. 110].

Имеющиеся биографические данные свидетельствуют о том, что с 1826 по 1829 годы Юзеф Игнаций Крашевский учился в Бялой Подляске, затем в воеводской школе в Люблине (ныне Польша) и Свислочской гимназии (ныне Беларусь). В 1829 году поступил на медицинский факультет Виленского университета (ныне Литва), но затем перешёл на литературный факультет, потому что литература его манила с детства.

За причастность к противоправительственным кружкам в 1830 году был арестован и до 1832 года находился в тюремном госпитале. После освобождения под надзором полиции жил в Вильне в арендованных или собственных поместьях на Волыни и Полесье. О философии жизни, духовной силе и слабости, о человеческой трусости и смелости рассуждает поэт в стихотворениях «Часто...» [7, с.146] и «Во что верю?».

*Часто слов не хватает, если переполняют  
 Душу мысли и чувства, что пожаром пылают.  
 Но молчание многое – судьбы! – скрывает,  
 Даже если хлад смерти уста замыкает.  
 В нём под пеплом невидимый пламень таится,  
 Затухая, он гаснет и... снова искрится!  
 Когда ж в бедную душу заглянуть попытаешься –  
 На губах умирает её слово пылающее.  
 Счастлив тот, кто владеет речистостью тою,  
 Что, как служба послушный, всегда наготове,  
 Говорит он, как дышит, свободно, легко,  
 И слова, словно птицы, парят высоко...  
 Но тех больше, что чувства большие скрывают –  
 На ключ душу закроют и губы сжимают,  
 Замолкают, невзирая на слёзы, отчаянье –  
 Пожалеет всем сердцем их участь печальную.*

11 декабря 1851

Уже с первых строк чувствуется грусть и горечь оттого, что человек не всегда может поделиться с другими своим сокровенным, боясь быть неправильно понятым. Мир не прощает человеку откровения, которым при случае могут легко воспользоваться окружающие как оружием против самого же говорящего. Поэтому вопрос открытости и искренности общения, умения владеть словом, наконец, вопрос о силе и слабости духа и влиянии всего этого на судьбу человека, которые ставит Ю.И. Крашевский, – остаются загадкой для читателя любой национальности и в XXI веке.

\* Благодаря подаренной романовским музеем Ю.И. Крашевского коллекции экспонатов, в музее-усадьбе уже несколько лет существует отдельный зал с экспозицией, полностью посвящённой Крашевским.

Обратим внимание и на дату написания стихотворения, на те обстоятельства жизни, которые позволили ему условно быть свободным, на самом же деле так и не почувствовав свободы. Находясь под постоянным надзором полиции, он вынужден был переезжать с места на место. И потому ему неведомы покой, размеренная жизнь, домашний уют. В его жизни мелькают многочисленные арендованные поместья на Волыни и Полесье. Он – ярый противник всякого гнёта, борец за право своего народа быть свободным. И, как истинный сын своей земли, испытывает страшные мучения оттого, что вынужден молчать. Поэтому невозможно даже представить, какого труда стоило ему это «насильственное молчание». Может быть, поэтому и появляется такое необычное по настроению стихотворение. Грусть, горечь и сожаление придают ему совершенно иную окраску, выделяя тем самым его из рядов многочисленных тематических стихов. Разделяя своё произведение на два голоса, автор в подтексте обозначил и свой, третий. Его лирический герой – мудрый наблюдатель, который не обличает и не судит, а просто, кажется, безотносительно констатирует, нивелируя между двумя полюсами.

Тема – в заглавии, которое становится неким символом. А многоточие, которое неслучайно используется в конце заглавия, лишь подчёркивает незавершённость суждений, некую недосказанность, открытость, уступая место читательскому домысливанию. «Часто...» содержит в себе бездну содержательных компонентов, где каждая буква может быть наполнена конкретным смыслом:

- Ч** – честь,
- А** – альтруизм,
- С** – совесть,
- Т** – трудолюбие,
- О** – ответственность.

Как часто люди поступаются ими в обмен на что-то более выгодное! Первая и последняя строки стихотворения помогают осознать всю горечь несовершенства человеческих отношений, когда всё чистое, светлое, идущее от сердца, приходится сдерживать, замалчивать в угоду обстоятельствам. И как бывают несчастны те, кто считает правильным следовать такому правилу неотступно.

Ключевые слова («переполняют», «душу мысли и чувства», «но молчанье уста замыкает», «пламень таится», «гаснет», «снова искрится», «слово пылающее», «счастлив тот, кто говорит», «замолкают», «пожалеем за участь печальную») помогают сформулировать основную тему: выбор и ответственность человека за содеянное. И идея – извечный вопрос о душевной отваге и робости, о всемогущей силе слова, о молчаливой работе мысли, о заведомом подавлении в себе высоких начал, о сострадании.

Лирический герой Ю. Крашевского предстаёт перед читателем в один из сложных моментов своей жизни. Он одинок, подавлен, далёк от гармонии с самим собой и окружающим миром. Динамику чувств лирического героя поэт чётко обозначил в каждой строфе.

Так, в первой – автор с грустью сообщает о том, что у лирического героя «часто слов не хватает», чтобы выразить «мысли и чувства, что пожаром пылают». Он сожалеет, что не может озвучить свою мысль, вынести её на суд толпы и тем самым облегчить душу.

Во второй строфе лирический герой пускается в пространные размышления о силе правды. И слово, как средство её выражения, представляется как «невидимый пламень», который не сможет сдерживать даже «хлад смерти».

В третьей строфе лирический герой по-доброму завидует тому, кто может полёт мысли заключить в блистательные фразы. Ведь именно в таких случаях «слова, словно птицы, парят высоко». Правда, дела могут быть другими... Вместе с тем лирический герой понимает, что доверять таким людям что-то сокровенное и важное чрезвычайно опасно.

И, наконец, в четвёртой строфе лирический герой огорчается и констатирует, что в мире «тех больше, что чувства большие скрывают» и по разным причинам их не демонстрируют. Их молчание – это постоянная работа мысли, саморефлексия, труд души. Замкнутость – их основное качество. Но автор не упрекает и не обличает, он их только жалеет, потому что понимает, в какие суровые рамки жизни они загнаны. Грустный призыв: «Пожалеем всем сердцем их за участь печальную» лишь подтверждает сказанное.

Лирический герой философски подходит к вопросам бытия: он понимает, что у него нет ни сил, ни возможности изменить мир, но есть слово и благородная душа, способная с должным пониманием относиться к любому человеческому выбору.

В стихотворении автор активно использует такие тропы, как: метафора («бедная душа», «участь печальная»), метонимия («слова горят», «молчание скрывает»), метонимические перифразы («хлад смерти уста замыкает», «на ключ душу закроют»), сравнения со стёртой образностью («говорит он, как дышит», «слова, словно птицы»), индивидуально-авторские сравнения («как служка послушный»).

Образ «слово» выступает в стихотворении своего рода аллегорией. Всякий символ – это образ, а всякий образ символичен. Поэтому в стихотворении можно обозначить такие образы-символы, как: «Слово» (как символ вечности), «Душа» (как символ жизни человеческой), «Мысль» (как символ внутреннего мира человека), «Невидимый пламень» (как символ творчества; великой силы, спящей до поры до времени), «Участь печальная» (как символ несчастной Судьбы, загубленной жизни).

Таким образом, рассуждая о многоликости жизненного выбора, Ю. Крашевский даёт читателю понять, что мы все разные: кто-то речист и смел, кто-то горяч сердцем, но молчалив, кто-то тих и робок. И потому тех, «что чувства большие скрывают – / На ключ душу закроют и губы сжимают, / Замолкают, невзирая на слёзы, отчаянье», автор призывает пожалеть: «Пожалеем всем сердцем их участь печальную». Такой выбор делает лирический герой. В жизни выбор был сделан не только лирическим героем стихотворения, но и самим Ю.И. Крашевским. Поэт верит в то, что любой выбор всё равно предопределён, ибо все судьбы людские «берут начало во Вселенной». Об этом его стихотворение «Во что верю?»:

*Верую в то, что высоко и свято,  
В верную дружбу, в любовь без измены;  
В непостижимое разумом и необъятное –  
В то, что начало берёт во вселенной  
И не закончится в мире этом.  
Верю в луч вдохновенья, ниспосланный свыше поэту,  
Каждой клеточкой сердца, всей силой желанья;*



*Верую в бесконечность существования,  
Во всё, без чего душа человека прожить не может,  
О чём мечтаем, когда тоска сердце гложет.  
И в две руки, что сплелись в порыве восторга,  
В два любящих сердца, пылающих на вершинах.  
Ведь даже если союз ладоней будет расторгнут,  
Любовь в сердцах останется нерушимой.*

*Одесса, 1852*

В 1853 году Ю. Крашевский обосновался в Житомире. В это же время он становится действительным членом Виленской археологической коллегии. В 1858 году путешествует по Франции, Италии и Германии. С 1860 года живёт в Варшаве. В январе 1863 года за несколько дней до восстания по приказу начальника гражданского управления маркиза Велепольского, подозрительно относившегося к деятельности писателя, Юзеф Игнаций Крашевский вынужден был навсегда покинуть Королевство Польское и поселиться в Дрездене. Хотя накануне восстания Крашевский не верил в его успех и ратовал за «бескровное» освобождение Польши, тем не менее, когда оно разразилось, он начал горячо поддерживать его в своих литературных произведениях.

Некоторое время жил в Дрездене, где вёл разведывательную деятельность в пользу Франции против Пруссии, за что и был арестован в 1883 году. После суда в 1884 году в Лейпциге был приговорён к 1,5 годам заключения в Магдебурге. Свои мысли и чувства он выразил в стихотворении «Псалом», написанном в 1884–1885 гг.:

*Из глухой тишины, из грязного логова  
Мысленно обращаюсь к Богу я:  
Боже, за что так унижил грешного,  
Толпе отдав меня на посмешище?  
Телесная немощь мой дух угнетает,  
Мольбы до Всевышнего не долетают!  
Я грешен, я знаю, о Господи... Ныне  
Грехи меня тяжкие в землю вдавили.  
Но ты всемогущ и простишь мои вины,  
И я оживу, полумёртвый, – не сгину.  
Лишь кожа да кости остались – смотри –  
Ни стонов, ни слёз – сожжено всё внутри,  
Взываю, о Господи, утром и ночью –  
О, сжался, яви свою Милость воочию!  
Исчезли все те, что друзьями казались,  
Сердцами и духом разом нищими стали,  
А враг всё глумится и свирепеет –  
О, Боже, пришли свою помощь скорее!*

*Магдебург, 1884–1885*

После освобождения из тюрьмы Ю. Крашевский выехал в Швейцарию, где провёл последние годы жизни. Похоронен в Кракове.

Сегодня известно, что первый двухтомный сборник «Поэзии» Крашевского был издан в 1838 году в Вильно и через пять лет переиздан в Варшаве. Следую-

ший томик стихов появился почти через двадцать лет в Париже (1857). Это были «Гимны скорби», переведённые на французский и немецкий языки и позже (1879) переизданные в Кракове. В перерыве между этими сборниками появляется эпическая историческая поэзия Крашевского, в основе которой лежали легендарные события истории Литвы. Увенчивает её историческая трилогия «Анафеляс» (1840–1845 гг.).

Всё остальное лирическое наследие Крашевского, исключая драматическую фантазию «Сатана и женщина» и идиллию «Деревня», выходит в уже посмертно изданном томике «Поэзия и фрагменты прозы» (Варшава, 1912).

Кроме лирики Ю. Крашевский писал повести, романы (среди них роман «Волшебный фонарь»), теоретические работы по литературе. В его творчестве выделяют три периода: первый – 1830–1838 – юношеский; второй – 1838–1863 – польско-варшавский; третий – с 1863 – дрезденский.

Следует сказать, что жизненные и творческие интересы Ю. Крашевского были очень разнообразны. Ещё в школе Юзеф Игнаций начал писать стихи, создал поэму о четырёх порках года, перевёл басню Лафонтена, выпустил рукописную газету.

Позже, обладая разносторонними дарованиями, он был не только писателем, поэтом, драматургом, но и критиком, историком литературы, публицистом, издателем, переводил с пяти языков, профессионально занимался музыкой и живописью.

Рисунку и живописи он начал обучаться у Яна Рустема и, вероятно, у Винченцы Смоковского ещё во время учёбы в Виленском университете. Позже, уже будучи в заключении (1830–1832), он выполнил двадцать пять рисунков пером, иллюстрирующих вторую и четвёртую часть «Дзядов» Адама Мицкевича. В Варшаве в 1838 году он брал уроки живописи у Бонавентуры Домбровского. К собственным занятиям изобразительным искусством относился как к досугу. Вместе с тем своими рисунками он стремился распространять знания о национальной культуре и истории, поэтому изображал древние достопримечательные здания и руины, копировал изображения исторических деятелей и иллюстрации из старых изданий и хроник. Художественное творчество Ю. Крашевского в жанровом и тематическом отношении тоже разнообразно: писал повести из крестьянской и сельской жизни, исторические романы разных типов, главным образом, о прошлом Литвы и Польши, романы злободневной социально-политической проблематики, стихи, научные и публицистические статьи. В его произведениях живописно представлены быт и нравы польского общества середины XIX века. Классики польского реализма видели в Ю. Крашевском своего наставника и пророка.

Сам же Ю. Крашевский был убеждён, что творческое вдохновение приходит свыше и только поэтическая душа «может переводить» посланные свыше мысли с языка небесного на язык земной. Поэтому к интерпретации произведений исследователями-литературоведами и читателями поэт относился по-философски мудро: «Заслуживает внимания та мысль, что при исследовании поэтических произведений, художественных сочинений, всего того, что является плодом созидания человеческого духа, никогда невозможно разграничить то, что автор вложил туда сознательно, по своей доброй воле, а что родилось независимо от него, в порыве творческого вдохновения... .. в минуты творчества поэт вовсе не отдавал себе отчёта в том, что ему подарило вдохновенье. Унесённый им, он был не властен над собой. То высочайшее, что мы обнаруживаем в произведениях человеческих,

родилось в них не по расчёту и в результате обдумывания, а благодаря дуновению свыше, неожиданно. Такая мысль может показаться унижительной, но это чистая правда. Творчество остаётся тайной даже для тех, кто для него рождён» [16, с. 116].

В 2009 году к 200-летию со дня рождения Ю. Крашевского в Бресте вышел сборник поэзии и прозы «К Крашевскому в Романов и Долгое» [16, с.159], посвящённый родным местам знаменитого писателя: Долгому на Пружанщине и Романову на польском Подлясье. В книгу вошли переводы фрагментов воспоминаний писателя о годах его детства и молодости. Есть здесь и поэтический раздел, посвящённый музею писателя в Романове «В Романове поэзия живёт». Впервые переведённые на русский язык стихотворения Ю. Крашевского («К вам, друзья, всей душою», «Падает снег», «Ангел смерти», «На смерть Яна Чечота», «Люди схожи с фруктами, когда созревают», «К\*\*\*», «Сидит у дороги первый», фрагменты из «Витолорауды») есть и в книге Р. Гусевой «Третья попытка».

Приведём стихотворение «К вам, друзья, всей душою» [6, с. 179]:

*К вам, друзья, всей душою  
Я лечу: думой, песней.  
Песнь вам душу откроет –  
Что на свете чудесней!*

*Но лететь далеко ей  
Придётся за вами.  
За седьмой вы горою,  
За лесами, морями.*

*Песнь летит к вам с приветом,  
Полным мысли и грусти.  
А дождётся ль ответа,  
Кто её в сердце впустит?*

*Но коль выносил в сердце,  
Её с вами, грустя, я  
На ответ я надеялся –  
Услыхать его чаял.*

*И ошибся. Надежда  
Оказалась напрасной,  
Ветер, буря, как прежде –  
И смиряется разум!*

Вот что вспоминает Руслана Гусева [6, с. 179–207]: «Те несколько стихов, что я перевела, сразу легли мне на душу. Нашла я их в простеньком посмертном варшавском издании (1912) поэзии Крашевского, где они и были впервые опубликованы. И, насколько мне известно, до нашего времени больше нигде не публиковались. А когда совсем недавно загадочная эпическая трилогия Ю.И. Крашевского «Анафеляс»\*, о которой я много слышала, читала, но не видела, попала

\* «Анафеляс», по Крашевскому, – это гора вечности, куда после смерти отправляются души умерших.



*Лес шумит погребальные песни;  
Где по чёрной земле текут  
Реки, полные слёз человеческих?  
Как скитальцу живая вода,  
Край тот пасмурный сердцу нужен:  
Он нам дорого, как жизнь. И всегда  
Мы с ним, он с нами тужит.*

Стихотворение раскрывает одну из страниц истории жизни писателя и носит автобиографический характер. Действительно, поэту пришлось испытать в разные исторические периоды разные чувства по отношению к своей родине, но неизменным осталось одно – чувство патриотизма.

Уже в первой строфе стихотворения лирический герой испытывает по отношению к своей родине сострадание и тоску, сожаление и сочувствие.

Во второй строфе к ним прибавляется ещё и тревога, скорбь и боль за страну.

В третьей строфе чувствуется мужество и преданность отчизне. Этот край ему дорог, как жизнь, и нужен, как скитальцу вода.

Сильные позиции стихотворения помогают сформулировать тему: родина – это и есть жизнь. Уже само название имеет широкий смысловой диапазон. «К\*» воспринимается как дружеское послание, которое можно адресовать и милому тихому Краю, который запомнился в детстве; и Родине, которая выпестовала лирического героя; и Стране, где живёшь; и Матери, Отцу, без которых немислима жизнь; и другу, любимому, которые расцвечивают жизнь в яркие краски.

Первая и последняя фразы составляют композиционное кольцо и свидетельствуют о вечной и непреложной истине: родной край не забывай никогда («знаешь ли край?»), ибо он нам дорог («он нам дорог, как жизнь»), потому что воспоминание о нём помогает выжить в трудные минуты («мы с ним, он с нами тужит»).

Лирический герой предстаёт перед читателем в минуты своих воспоминаний и душевного беспокойства, страданий и терзаний о том, что его край в трауре, о чём свидетельствуют фразы «попынь Над могилами расцветает», небо закрыто «саваном туч серых», «в полях кости», «лес шумит погребальные песни...», а «по чёрной земле текут Реки, полные слёз человеческих». Несмотря на всё это, родной край ещё больше дорог лирическому герою, который часто меняет места своих обитаний. Дорог потому, что здесь он любим и любит сам.

Лирический герой уверен, что любить по-настоящему – большое счастье и дар свыше. Любить Землю-кормилицу, мать и отца, давших тебе жизнь, свой род и любимую женщину, любить Бога – судью и заступника, любить жизнь... – такие составляющие счастья любви понятны каждому этносу. Именно они и роднят всех людей на земле. А потому «на всех наречьях и на языке души» такой разговор понятен, ибо любить значит ещё и благодарить за всё, что имеешь. Понимать, принимать, боготворить, прощать... И всё это – от Бога... Невольно улавливаешь эту мысль, читая стихотворение Ю.И. Крашевского «Мария Магдалина» в переводе Л.Н. Красевской:

*Боже! Ты мне простишь, потому, что живя на земле,  
Возлюбила я искренне всех, ко всем людям  
Шла делиться своей красотой, наслажденьем во мгле.  
Ни время, ни стыд, ни боль – любви моей не остудят.*

Я буду любить всегда. И если народ твой, Боже,  
Камнями за эту любовь и презреньем оплатит,  
Упаду на колени, приму от них смерть и всё же  
Молиться буду за них и любить как братьев!  
Когда сирота, дитя улиц Иерусалима,  
Измученно-бледной бродила за крошками хлеба,  
Быть никто не хотел ни отцом мне, ни матерью. Мимо  
Все проходили. За всех я молилась небу!  
Боже! Моему ты сердцу вместо богатств на свете  
Великое дал, безмерное сокровище любви.  
Была этим счастлива, была я богата этим.  
Лишь не имела взаимности, а только отренье и...  
Потом, когда, словно цветочек скалистой долины,  
Весной расцвела красавицей, забыв нищету,  
Тогда все полюбили прелести бедной дивчины,  
Ведь цветы любят все, хоть они и на скалах растут.  
И они любили меня. Взаимностью могла ли  
Не ответить им на любовь? Справедливый мой Боже!  
Мы часто людям на гнев и злость – злостью отвечали,  
А разве любовь любовью отплатиться не может?  
Росли две розы в саду у левитов.  
Одну и увидев, сорвать не смеют.  
Вокруг вся шипами она обвита,  
Священник костёл не украсит ею.  
Невеста, красавица молодая  
Её на груди и миг не носила.  
Выцвела роза, в саду увядая.  
Не заметили люди, и птица забыла.  
Другая цвела на виду, без шипов.  
И хоть знала – завянет, едва сорвут,  
Манила и руку, и взгляд вновь и вновь.  
И желала только, чтоб в одно из утр  
Для кого-то стать хоть на миг красивой.  
Пахнуть не для себя, не себе цвести.  
И нищий, дорогой той шедший мимо,  
Нищий, что прожил всю жизнь с чёрствым хлебом в горсти  
И только горькими слезами упивался.  
Из всех блаженств знал лишь блаженство слёз, им наслаждался.  
Нищий сорвал эту розу, носил её день целый,  
Впервые грудь его возвышенно благоухала,  
Носил, потом бросил, но, мало так видя свет белый,  
Радовалась, умирая, что не зря расцветала.  
Какая из роз, о Боже, на небе твоём будет?  
Та, что жила для себя, или та, что служила людям?  
Была я одною из этих роз, меня желали,  
Тешились мною, пока в пути не завяла.  
Увядшую – все от себя прогоняли,

*Ногами толпа растоптала.  
Но я их люблю! Меня ничто не изменит,  
Расцелую руки – пусть забывают –  
Сама для себя принесу каменья.  
Отдала им сердце – и жизнь посвящаю.*

Лирическая героиня уверена, что любить – это великое право, данное судьбой каждому человеку.

О любви как о великой ответственности человека за судьбу того, кого любишь, о любви как о постоянной работе души стихотворение Ю. Крашевского «Два слова» [18, с. 148–149]:

*На всех наречьях и на языке души  
Роднят всех нас два слова.  
Они – как в засуху капли росы.  
В них смысл сокровенный живого.*

*Как в океане жизни две жемчужинки,  
Как звёздочки две в небе,  
Нам от рожденья светят нужные  
Два слова:*

*– Kocham siebie.*

*Бог, сотворив человека,  
Хотел увенчать его в небе,  
Бессмертное открылось сверху веко.  
Взглянул и рек:*

*– Kocham siebie*

*С тех пор на земле тот счастлив,  
Так счастлив, словно в небе,  
Кто сказал те слова прекрасные:*

*– Kocham siebie.*

*Но счастливее в тысячу раз,  
Кто услышал, как перифраз,  
С милых губ, словно с неба:*

*– Kocham siebie.*

*Наисчастливейший, кто говорил, повторял и слышал,  
Звук этих слов навеки душа сохранит,  
Воспоминание о них страданье утешит  
И в смертный час утром в небе зарёй заблестит.*

*Счастлив, кто – Kocham siebie – слышал от матери милой,  
Кого седовласый отец благословил.*

*Кто верную дружбу познал, кто из уст любимой –  
Kocham siebie! – услышал, не зря он на свете жил!*

*Счастливей! Когда мир стеною встал между ними,  
Ломая её, поднимались, чтоб встретиться в небе,  
Лучше не жить, чем жить порознь с любимым,  
Мир покидая навек, услышать:*

*– Kocham siebie.*

*Ты же, кто скуп был на слёзы, порывы благие,  
Кому – Kocham – никто никогда не сказал,  
Пусть даже все наслажденья изведал земные,  
Но без любви ты и тени счастья не знал.*

*Ибо нет на земле и в небе  
Таких, как эти два слова,  
Музыкой сфер звучит снова:  
– Kocham siebie.*

*Долгое, 1834*

Стихотворение написано Ю. Крашевским в то нелёгкое время (1830-1849), когда большая часть Беларуси после третьего раздела Речи Посполитой входила в состав Российской империи. После подавления восстания 1830–1831 гг., целью которого было восстановление Речи Посполитой в границах 1772 года, Виленский университет стал центром возникновения и деятельности нескольких тайных обществ (филомаатов и филаретов). В обществе филомаатов изучали истоки белорусской культуры и истории, белорусский язык, традиции и фольклор. Поступив в 1829 году в Виленский университет, Ю. Крашевский оказался в гуще событий и был арестован в декабре 1830 года за причастность к деятельности противоправительственных обществ. После заключения в тюрьму и пребывания в военном госпитале до марта 1832 года он был освобождён и сначала проживал под надзором в Вильно, а затем на арендованных или собственных поместьях на Полесье (д. Долгое на Пружанщине) и Волыни.

Что же вложил автор в эти два слова Kocham siebie (в переводе с польского: люблю тебя)? От каких слов билось и трепетало его сердце?

Уже в первых строках стихотворения автор делает акцент на то, что самые главные в жизни слова звучат похоже на всех языках мира, потому что произносятся не голосом, а сердцем «на языке души». В последних строках автор подчёркивает красоту этих слов, как будто это не слова, а настоящая музыка, мелодия души, которую по-настоящему услышать можно только сердцем.

Ключевые слова («на языке души», «два слова», «смысл живого», «в океане жизни», «от рожденья светят», «Бог хотел увенчать», «рек», «тот счастлив, кто сказал», «но счастливее, кто услышал», «наисчастливейший, кто говорил, повторял и слышал», «кто слышал от матери», «кого отец благословил», «кто дружбу познал», «кто скуп был на слёзы, кому никто никогда не сказал, без любви счастья не знал») помогают сформулировать тему стихотворения: любовь во всех её проявлениях – основа жизни. Ведь невозможно свести в одну плоскость любовь к ребёнку и к Родине, любовь к отцу и матери и любимому мужчине (женщине), любовь к другу и великую и вечную любовь к Богу. Не познав всего этого, человек, пресытившись гипертрофированными чувствами в прошлом, оставляет в сегодняшнем лишь их тень, смутное напоминание в настоящем. Соответственно исчезает и столь ярко обозначенная в прошлом цель существования. Не потому ли всё нарастающий сегодняшний ритм жизни увеличивает её скорость так, что мы боимся понять, что движемся в пустоту, ибо без души нет любви, а жизнь теряет всякий смысл. Какое место ей должен отводить человек? Кажется, на этот вопрос отвечает лирический герой Ю. Крашевского. Частое, и главное, акцентированное употребление глаголов («роднят», «светят», «сказал», «услышал», «повторил»)



говорит о динамичности, подвижности, живости самого чувства. И действительно, любовь не бывает статичной. В связи с этим экспрессивен и ритм стихотворения: от напористо речитативного ямба первой строфы он с каждой строфой всё усложняется, и кажется, что лёгкая мелодия влюблённости переходит в целую симфонию настоящего чувства. Любовь и всё, что с ней связано, – это всегда что-то личное. И с помощью частого употребления личных местоимений либо слов, близких к ним по смыслу в контексте данного стихотворения, автор словно открывает нам завесу сокровенной тайны лирического героя.

Образ лирического героя в стихотворении достаточно размыт, однако мы видим, что от легкого намёка в первой строфе автор постепенно переходит к уверенному *Kocham siebie* (люблю тебя). И это признание в любви на польском языке – в первую очередь отношение к людям всех наречий, к жизни и миру, к Богу и любовь Всевышнего к человеку. Однако счастливым, по мнению автора, можно назвать того, кто сам хоть однажды изрёк это слово или услышал его от другого. И наисчастливейшим поэт называет того, кто «говорил», «слышал» и «повторял» звук этих слов. И всё же важно, когда в этой жизни тебя любят не только мать и отец, друзья и верная подруга, но и окружающие тебя люди. Потому слово «люблю» является лейтмотивом стихотворения, его рефреном. Им завершается каждая строфа. Не забывает автор и о божественной стороне любви, напоминая читателю, что это чувство даровано нам свыше, говоря в третьей строфе уже устами Бога. Три последующие строфы повествуют о счастливой любви, то есть чувстве, обретшем взаимность. Седьмая строфа – воплощение самой чистой и самоотверженной, бескорыстной любви – родительской и дружеской, вкупе с верностью, без которой любовь становится пошлостью. Именно ей резко противопоставлена она в предпоследней строфе. Здесь лирический герой, поэтапно показавший нам до этого все аспекты любви, подводит читателя к кульминации своих суждений – противопоставлению чувства как такового и неспособности любить. Жизнь человека, лишённая эмоций, скучна и бессмысленна. Любовь на земле не заканчивается, она имеет своё продолжение и на небе. А там она уже, по выражению поэта, – «музыка сфер».

Об этом и стихотворение И. Крашевского «Солнце» (здесь оно даётся в переводе Л.Н. Красевской впервые)\*:

*Моё ты небо, дивная картина!  
Мои вы звёзды, вам дано светить!  
Скажите, почему, когда один я –  
Без моей Зоси – так тоскливо жить.*

*Вы так же хороводы в небе водите  
По парам, как и мы здесь на земле?  
А месяц с солнцем, почему от встреч уходите,  
Зачем вам Бог быть вместе не велел?*

*О, если мне стать солнцем вдруг понравится...  
Я б не хотел!.. так грустно одному,  
Ведь на рассвете, чуть заря проявится –  
Все в небе уступают путь ему.*

\* Из личного архива Л.Н. Красевской.

*Что блеск и свет, когда ты одинокое.  
Исчезнут все, чуть подойдёшь поближе.  
Мне жаль тебя, о солнце ясноокое!  
Вдвоём теплей, хоть здесь темней и ниже!*

*Отец, создавший небеса высокие!  
Соедини нас поскорей двоих!  
Близки сердца, дороги к ним далёкие...  
Господь, соедини детей твоих!*

Автор уверен, что в этом сложном и противоречивом мире человек, даже если он очень значим и велик, не может быть счастливым, живя в гордом одиночестве («что блеск и свет, когда ты одинокое»).

Стихотворение «Земля польская» [7, с. 111] тоже о любви, но любви патриота:

*Земля моя польская, мать ты родная, святая!  
Вся пропиталась ты кровью невинных...Чего же  
Лик твой печальный под небом чужим вспоминаем,  
А вкус хлеба ржаного нам яств чужеземных дорожке!  
А того, кто забудет о них в окруженье красот итальянских,  
Пуускай братья его проклянут как отступника грязного!  
Ты – старое кладбище, в пустынных руинах святыня.  
И любой твой ручей, мнится, полон слезами людскими.  
Когда ж вихрь зашумит в твоей старой дубраве печальной,  
Словно слышатся стоны и всхлипы и песнь погребальная...  
Шёпот древ твоих грустен, как речь человечья,  
Но, очарованный им, вновь стремится сюда бесконечно  
И от счастья летит к твоим болям, хотя б на пробитом крыле,  
Тот, чьим очам свет открылся на этой земле.*

Для лирического героя польская земля святая, родная, она – мать, которая любит своих детей просто за то, что они есть. Любит и гордится ими. Чувство любви переплетается с чувством горечи, тревоги, боли, обиды за её историю, пролитую «кровь невинных». Несмотря на то что польская земля пропитана кровью, «полна людских слёз», «грустных песен», это земля предков, которая достойна почитания.

Ключевые слова лишь подчёркивают эту мысль («печальный лик», «кто забудет, того проклянут», «всхлипы», «шёпот», «от счастья летит», «чьим очам свет открылся на этой земле»). Лирический герой посылает упреки тем, кто в трудные для отечества минуты сбежал в жаркие и чужие страны, предрекает им несчастья: они «будут прокляты как грязные отступники».

Сравнивая польскую землю с кладбищем, где царят печаль и людские слёзы, где даже шум деревьев грустен и печален, где слышны «стоны и всхлипы и песнь погребальная», лирический герой испытывает уверенность в том, что даже эта грустная картина его очаровывает, ему хочется вернуться в родные края, «хотя б на пробитом крыле», потому что только на родине может «очам свет открыться на этой земле».

Стихотворение воспринимается и как обращение к потомкам, и как переживания о горьких страницах истории польской земли, и как сострадание к тем, кто её «залил слезами», и как обида за её «грязных отступников».

Любовь не только к своему милому краю, но к родным и любимым воспеваает Ю. Крашевский в стихотворении «Чужие края» [17, с. 29-30]:

*Там, за синими морями,  
Зеленой листва деревьев,  
Там поля пестрят цветами,  
Золотые текут реки.*

*Мне ж милей в своей сторонке,  
Чем в чужом далёком крае,  
Без неё – в разлуке долгой –  
Сердцем я томлюсь, скучаю...*

*Апельсинные там рощи,  
Благовонные жасмины,  
Из скалы там бьёт источник,  
В розах дивные долины.*

*Мне ж милей... (и т.д.)*

*Так рассказ свой вёл когда-то  
Путник, воротясь с чужбины,  
Говорил, там люд богатый,  
Мол, не жизнь там, а малина.*

*Мне ж милей... (и т.д.)*

*Там не счесть девиц-красавиц,  
Об одной тоскую ныне –  
На щеках зардел румянец, –  
Без неё, как перст в пустыне...*

*Мне ж милей... (и т.д.)*

*Даже жаль беднягу стало,  
Так иссох он по девчонке;  
Хватит, вдруг само сказалось, –  
Там теперь твоя сторонка.*

*Там, где сердце поселилось,  
Где найдёшь ты рай с любимой,  
Край уж не чужой, а близкий  
И теперь навек родимый!*

1838

Это стихотворение Ю. Крашевского было написано в период после освобождения его из тюрьмы, когда он жил под надзором полиции сначала в Вильне, а затем в собственных поместьях на Полесье и Волыни. Описывая природу чужого края, автор с любовью говорит о той далёкой и дивной природе, которая будоражит его воображение, восхищает.

Выстраивая стихотворение в форме диалога, автор сопоставляет «жизнь малину» в чужих местах с ощущением лёгкости в родных, отдавая предпочтение второму. Вместе с тем лирический герой выражает уверенность в том, что «родными» можно назвать не только те края, где родился и вырос, но и те, где нашёл свою любовь и счастье. И тогда чужие края становятся тоже близкими и родными. Поэтому с такой любовью автор описывает прелести чужбины, её дивные долины и рощи.

Лирический герой убеждён в том, что родной край – это тот, где «поселилось сердце», где «найдёшь ты рай с любимой». Только тогда чужой край может стать близким.

Стихотворение «Чужие края» Ю. Крашевского по своему пафосу близко стихотворению польского поэта Винцесея Коротынского «Туга на чужой старане».

Заметим, что В. Коротынский очень высоко оценивал творческий дар поэта Ю. Крашевского: «В творчестве Крашевского поэзия не занимает первого места, может, даже не занимает второго. Однако того, что он написал, хватило бы для того, чтобы почтить благодарностью и славой по меньшей мере четырёх обычных поэтов» [16, с. 115].

### **Винцесь Коротынский (1831–1891)**

Сам Винцесь Коротынский писал по-белорусски и по-польски, являлся сотрудником виленской и варшавской периодики, автором многочисленных очерков, которые связывали его с родиной и её людьми. Он – автор поэтических книг «Чым хата багата, тым рада» (1857), «Тамила» (1858), «Выпил Куда до Якуба» (1859), изданных в Вильно.

Из книг В.И. Мархеля и других исследователей постсоветского пространства современный читатель узнаёт о том, что Коротынский – основатель целой династии поэтов и журналистов, белорусский и польский просветитель – происходил из семьи бедных крестьян деревни Селище, что на Новогрудчине.

Отец его – бывший крепостной Александр Каратай – только перед женитьбой с селищанской шляхтчанкой Юзефатой с Далидовичей получил вольную и начал носить фамилию Коротынский. Поэтому интеллектуальных и творческих высот поэт достигал с помощью самообразования: сначала под руководством местного органиста изучал основы польской и русской письменности, а также арифметики; позже активно занимался чтением и даже переписыванием просто для себя книг, таких как: «История Польши» И. Лелевеля, «Демон» М. Лермонтова и др.; изучил русский, чешский, французский, немецкий языки.

Во время учительствования в доме Шестаковских в д. Сенная В. Коротынский познакомил со своими поэтическими произведениями бывшего униатского священника Давидовича, который свёл его с В. Сырокомлей, встреча с которым имела судьбоносный характер.

Будучи свидетелем самодержавных репрессий и предвидя неизбежность отъезда из родного края, В. Коротынский написал в 1864 году элегический стих высокоэмоционального характера «Туга на чужой старане» [26 с. 186], который входит в тройку тех чудесных стихотворений, написанных на белорусском языке (стихотворение, изданное в 1858 году в качестве дополнения к известному «Альбому» А. Киркора по случаю приезда Александра II; стихотворение «Далібог-то, Арцім...»)и, без преувеличения, раскрывающих его мощный потенциал как белорусского творца.

*Ой, саколка, ой, галубка!  
Не пытайся, не , –  
Што мне тошна, мая любка,  
У гэтай старане...  
Я ж зямліцу меу радную,  
Быу свабодзен сам.  
Ох, ці днюю, ці начую, –  
Я усё там ды там.  
Там гукнеш у сардэчным краю –  
Разлягнецца свет.  
Тут гукаю, прамауляю –  
Адгалоску нет.  
Там палосы, сенажаці  
Красны, як нідзе,  
Стануць птушкі прыпяваці –  
У сэрцы аж гудзе.  
Там дзяучаткі на вячорках  
Словейкам радным  
Кажуць казкі, прыгаворкі, –  
Душа ліпне к ім.  
Там дзяучаты, маладзіцы –  
Красен цвет-тымян;  
Глянеш толькі ім у ачыцы,  
Як ад мёду п ян.  
Там, як птушка на свабодзе,  
Я быу жыць прывык,  
Не пытайся: мала? Годзе? –  
Быу вясёл і дзік.  
Як дубочак маладзенькі,  
Гібкі – проста віць,*

*З воч маланка вылятае,  
Кроу агнём кіпіць.  
Паглядае праз аконца –  
Чоран цэлы свет;  
Усім людзям свеціць сонца –  
Мне прасвету нет.  
Бо за мною, прада мною  
Поуна божых сёл,  
Усе у грамадзе ды з раднёю –  
Я адзін як кол.  
Адарвалі сіраціну  
Ад сваёй зямлі,  
Даушы розум, хараміну,  
Шчасця не далі...  
Ах, цяпер жа, ой, палеткі  
Роднага сяла,  
Не пазналі б тае кветкі,  
Што там зацвіла.  
З шчаняткамі збегау поле  
Мілай стараны, –  
Не судзіла горка доля  
Жыці, як яны.  
Ой, не будзе над радную,  
Ды не будзе нам,  
Ці я днюю, ці начую, –  
Там, ой там, ой, там!  
Сакалочка, галубочка!  
Хочаш мне памоч? –  
Дай маё мне, дай сялочка:  
Туга пойдзе проч.*

Стихотворение написано в канун отъезда В. Коротынского из Беларуси в Варшаву в связи с подавлением восстания 1864 года. Оно относится к циклу философско-патриотической лирики, раскрывающей отношение поэта-патриота не только к конкретному событию, но и конкретному чувству – ностальгии. Автор не только передаёт состояние души человека, оторванного от родных пенат, но и в целом определяет значимость родного очага в раскрытии духовно-нравственного потенциала личности, осмысливающей проблему человеческого существования, счастья и смысла жизни. Настроения, выраженные в этом произведении, были хорошо понятны не только восставшим, но и всем тем, кто оказался в эмиграции. Не менее понятны они и современному читателю, оставившему по той или иной причине родные места.

## Тоска в чужом краю\*

<i>Ох, соколик, ох, голубчик!</i>	<i>С глаз молния вылетает,</i>
<i>Не спрашивай, не, –</i>	<i>Кровь огнём кипит.</i>
<i>Отчего мне тошно, милый,</i>	<i>Здесь смотрю через окно я –</i>
<i>В этой стороне...</i>	<i>Чёрен белый свет;</i>
<i>Я имел землю родную,</i>	<i>Людям светит солнце ясно –</i>
<i>Был свободен сам.</i>	<i>Мне ж просвета нет.</i>
<i>Теперь днями и ночами, –</i>	<i>Но за мною, предо мною</i>
<i>Я всё там и там.</i>	<i>Полно божьих сёл,</i>
<i>Крикнешь было в милом крае –</i>	<i>Все с друзьями и с роднёю, –</i>
<i>Раскроется свет.</i>	<i>Я один как кол.</i>
<i>Тут кричу, шепчу, молю я,</i>	<i>Оторвали сиротину</i>
<i>А ответа нет.</i>	<i>От своей земли,</i>
<i>Там полоски сенокоса</i>	<i>Дали разум, хоромину,</i>
<i>Все рядком идут.</i>	<i>Счастья ж не дали...</i>
<i>Станут птицы петь –</i>	<i>Ах, теперь же, ой лужочки</i>
<i>И что же?</i>	<i>Родных, дивных сел,</i>
<i>Больно ноет грудь.</i>	<i>Не узнали б вы цветочка,</i>
<i>Там девчата на вечерках</i>	<i>Что там раньше цвёл.</i>
<i>Словом мне родным</i>	<i>С щенятами сбегал поле</i>
<i>Скажут сказки, приговорки, –</i>	<i>Милой стороны, –</i>
<i>Душа липнет к ним.</i>	<i>Не сулила горька доля</i>
<i>Там девчата молодые</i>	<i>Жить, как все они.</i>
<i>Красен цвет румян;</i>	<i>Ох, не будет жизнь родною</i>
<i>Лишь посмотришь им в глаза ты,</i>	<i>Здесь, не будет нам,</i>
<i>Как от мёда пьян.</i>	<i>Если днюю и ночью, –</i>
<i>Там, как птица на свободе,</i>	<i>Там, ой там, ой там!</i>
<i>Было жить привык,</i>	<i>Соколичек, голубочек!</i>
<i>Не спрашивай: мало? хватит? –</i>	<i>Хочешь мне помочь? –</i>
<i>Был весел и дик.</i>	<i>Дай моё мне, дай селочко:</i>
<i>Как дубочек молоденький,</i>	<i>Тоска сгинет прочь.</i>
<i>Гибок – просто вить,</i>	

Это стихотворение – исповедь человека, волею судьбы оказавшегося вдали от Родины. Ностальгические чувства имеют в стихотворении дискурс философских рассуждений, размышлений о вечности прекрасного чувства патриотизма, о верности родным пенатам, о счастье свободы. Уже в первых словах-обращениях звучат глубокое разочарование, ностальгия. Лирический герой сожалеет о том, что вынужден оставить родную землю, он обращается к далёким, но таким памятным и прекрасным воспоминаниям, к пережитым простым земным радостям на родине. Лирическому герою дорого и мило всё в родном краю: и земля-кормилица, дающая человеку относительную независимость и свободу, и родная природа, гармонирующая с характером человека, частицей которой он и сам является;

\* Перевод стихотворения на русский язык сделан М.П. Жигаловой в кн.: Вінцэс Каратынскі ў беларуска-славянскім узаемадзеянні. Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (Мінск, 29 верасня 2006). – Мінск: Беларуская навука, 2006. – С. 147-150.

и верные друзья, общение с которыми окрыляет, и подруги, встречи с которыми дают лирическому герою живительную, целебную силу.

Он уверен, что жизнь без родины – большое горе и что счастливым человек может быть только в родном краю. Понять эту авторскую мысль в стихотворении помогает антитеза:

***На чужой стороне:***

*тошно  
чёрный целый свет  
одиночество  
смотрю через окно  
есть хоромы, а нет счастья  
тоска*

***В родном краю:***

*свободно  
сердечный край  
родня, друзья  
птица на свободе  
есть счастье  
радость, веселье*

Любовь к Родине в понимании поэта – это великий труд души и великое право, данное судьбой. Он убеждён, что ни время, ни расстояние не властны над этим чувством. Как бы благополучно ни сложилась жизнь на чужбине, лирический герой мечтает об одном – вернуться на родину, в своё родное село. То есть здесь явно не трагедия скованности и невозможности соединиться с родной землёй, а мечта о далёкой и прекрасной встрече. Грустная мечта, в которой всё-таки звучит надежда на возможность возвращения в родные пенаты, а значит, и на возможность вновь обрести счастье. Правда, время и пространство в стихотворении организованы таким образом, чтобы исключить осуществление мечты-сна. У времени в стихотворении нет ни начала ни конца; оно как бы остановилось, застыло. Пространственное расстояние здесь непреодолимо: у лирического героя есть только миг между прошлым и будущим. Этот миг – воспоминания. Динамика пространственного соотношения трагична, ибо лирический герой реально может вернуться на родину лишь в своих воспоминаниях.

В смысловом отношении образ-переживание – это и метафора одиночества и разобщённости людей, это и предостережение, потому что в нём сталкиваются реальность и мечта, удача и ошибка. Каждый человек, испытывающий чувство ностальгии, всегда мучительно ищет выход. Лирический герой страдает и не находит путей и способов возвращения на родину. Он мучительно осознаёт, с одной стороны, свою оторванность от неё, а с другой – слитность и вечное духовное единение с нею.

Познавая чужие страны, лирические герои Ю. Крашевского и В. Коротынского ещё больше убеждаются в том, что ничто так не греет душу, как родные края.

О двух родинах Ю. Крашевского – Долгом (Беларусь) и Романове (Польша) – стихотворение Р. Гусевой\* «Долгое и Романов» [6, с. 143]:

*Долгое и Романов связаны по судьбе  
Именем человека просто невероятного.  
Хотя о нём, мой читатель, мало известно тебе.  
Много ещё в истории для нас непонятного.  
В Долгом на месте усадьбы – буйное разнотравье.  
В Романове светлой памятью каждый твой шаг пронизан.  
И, даже если кому-то это совсем не нравится,*

\* Руслана Гусева – поэт, в прошлом брестский журналист, исследующий историю и культуру белорусско-польского пограничья. Публикуется в периодических изданиях.

*Дорого сердцу Долгое, душе же Романов близок.  
Душа в познании истины – здесь есть ей на что опереться:  
Книги, картины, стены, памятью укрепленные.  
Правда, Долгое – родина. Родина скажет сердцу  
Главное молча, одними своими лугами зелёными.  
Тот человек был сложен, сложен непостижимо.  
В разные времена жил, по разным странам скитался.  
Не подчиняясь правилам, творил он неудержимо  
И множеством сочинений на книжных полках остался.  
Но рушатся государства, оставив одни обломки.  
Так уж устроен мир наш – он немного ценит.  
И то, что было завещано, редко читают потомки.  
Бродят в стенах музеев героев бледные тени.  
И всё же тянусь душою я в этот мир, Романов.  
Мир, оставленный в прошлом, существующий для немногих.  
Будем смотреть на вещи просто и без обмана –  
Тщетны людские усилия, в прошлое нет дороги.  
Старый Куплин и Долгое мы отыскиали летом.  
Закрытые файлы в компьютере друзья для меня открыли.  
Так почему ты, Романов, мне всё же снился при этом?  
Я видела себя аистом, птицей с белыми крыльями.*

Стихотворение повествует о двух Родинах известного польского поэта-титана Юзефа Игнация Крашевского: белорусском поместье под Пружанами Долгом и польском поместье Романове.

Здесь, в Долгом, сами стены, «памятью укрепленные», указывают душе истину своими «лугами зелёными», одним своим молчанием, которое скажет больше, чем слова. А в Романове, где по-прежнему «поэзия живёт», оставлены на книжных полках множество сочинений И. Крашевского, человека невероятной судьбы, который творил «неудержимо», «в разные времена жил, по разным странам скитался» и который умел ценить жизнь.

Автор высказывает горькие разочарования тем, что мир, в котором мы живём, немного умеет ценить и что потомки обычно не ценят опыт своих предков. А ведь мирская слава преходяща, и всё, что теперь осталось от героев, – это их бледные тени, бродящие в музеях.

Тема стихотворения – малая родина, которая навсегда остаётся с человеком. Лирический герой уверен: где бы он ни находился, сколько бы ни странствовал, у него всегда есть место, где он может быть спокоен и счастлив, – это место, где он родился и вырос. Лирический герой дорожит Долгим, оно «дорого сердцу», напоминая о далёком безоблачном детстве. Дорог ему и Романов, который «близок душе», находящейся в познании истины, душе, которая здесь «творит неудержимо».

Вместе с тем далее лирический герой сетует на то, что творения необыкновенно талантливой личности, служившей во благо людям и родине, не были оценены по достоинству, что потомки редко читают завещания своих предков, а в стенах музеев нынче бродят всего лишь «бледные тени».

Динамику жизни лирического героя отражают глаголы («опереться», «скитался», «жил», «остался», «рушатся», «ценят», «бродят»). Они создают ощущение стремительности, мятежности духа, беспокойства. Глаголы «пронизан», «опе-



реться» создают символическое ощущение надёжности, уверенности в незыблемости чувства патриотизма, «скитался» и «остался» – демонстрируют читателю извечную истину: всё возвращается на круги своя.

Таким образом, лирический герой, а вместе с ним и автор, предлагают читателю подумать о поиске истины, о непостоянстве мира, о неизведанных тайнах человеческой души и истории Отечества.

## Романов

*Как там было радостно – как здесь уныло стало!  
Словно кто-то мир окутал тёмным покрывалом.  
Времена меняются! И чувства иные!  
Розы детства отцвели, тернии там ныне!  
И смеюсь натужно я, и смеюсь неискренне,  
И теперь чужая радость кажется мне выспренней.  
Было всё другим совсем – помню дом старинный...  
Среди леса, на ольхах гнёзда аистиные,  
И свисали до земли елей чёрных лапы,  
И казался мне их шум шёпотом монахов.  
Я, бывало, там грустил...Та грусть молодая –  
О! сейчас дороже мне, чем радость иная –  
В ней надежды расцветали, как в бутоне розы,  
Ныне тяжело на душе, я смеюсь сквозь слёзы...*

*Дрезден*

В стихотворении звучит обращение к последующим поколениям ценить своё наследие, которое в Брестско-Подляшском Пограничье принадлежит разным славянским народам и культурам, но имеет общую судьбу и ценность для мировой литературы.

Но есть на Брестско-Подляшском Пограничье и такие поэты, которые воспевают в своих стихах совершенно разные, но такие близкие для поэта культуры и континенты, как например, Африку и Полесье.

Это Ришард Капустинский\*, который родился в одном из красивейших городов Полесья – Пинске в 1932 году в семье учителей начальной школы Марии Бобко и Юзефа Капустинского. Город входил тогда в состав Польского государства. Затем были учёба в Варшавском университете, работа в Польском информационном агентстве, командировки в африканскую Сахару, боливийские горы, Иран... «Именно эти страны Азии, Африки, Латинской Америки стали для него источником творчества и образом жизни»[8, с. 59].

Сегодня Ришард Капустинский (1932–2007), великий поляк из Пинска, самый известный и популярный журналист и писатель современной Польши, мировую славу которому принесли книга о процветании и падении царя Хайле Селласье

\* В Интернете помимо официального сайта писателя существует и “Fan-klub R.K.” Капустинский 11 лет проработал репортёром в информационном агентстве «РАР». Он – лучший польский журналист XX века, почётный профессор Варшавского и Краковского университетов, член писательского Пен-клуба, обладатель премии принца Астурийского «За творчество, способствующее сближению разных народов и культур» – дважды номинировался на Нобелевскую премию.

в Эфиопии «Царь» (1978)\*, переведенная на 30 языков мира, и книга «Шах ин шах» (1982), рассказывающая о дворе шаха Резы Пехлеви в Иране. После двух-летнего путешествия (1989–1991) по СССР им была создана книга «Империя», которая стала третьим изданием, сделавшим имя писателя широко известным на Западе. В 1994 она была переведена на русский язык С. Лариным и напечатана в журнале «Знамя», позже переводилась и переиздавалась ещё более 20-ти раз. Так Р. Капустинский стал самым переводимым польским писателем. Всего им написано около 30-ти книг. «Но лебединой песней всего творчества, по заверению самого писателя, должна была стать книга о Пинске. Он долго и основательно готовился к её написанию... В рабочем кабинете варшавской квартиры писателя на самом видном месте лежат материалы и блокноты с его записками о Пинске и о Полесье» [15, с. 63–64].

Ришард Капустинский сегодня известен в мире и как поэт. Его стихи, опубликованные в польском еженедельнике «Сегодня и завтра», открыли для него дорогу в поэтический мир, а сотрудничество с редакцией еженедельника «Знамя молодых» предопределило дальнейший творческий путь. Поэт выпустил два сборника поэзии: «Записная книжка» (1989) и «Закон природы» (2006). Стихи из этих сборников легли в основу книги Ришарда Капустинского «Возвращение» [15]. Заметим, что сборник стихов издан на двух языках: белорусском и русском. И хотя поэт побывал во всех горячих точках планеты, он каждый раз мысленно возвращался на Полесье. Вот как об этом сказал сам Р. Капустинский в своём интервью, отвечая на вопрос о главной теме своего творчества: «Я родом из Пинска, с Полесья. Можно сказать, из провинции Европы. Может быть, поэтому мне нравится бывать в странах «третьего мира». Между командировкой в Париж или Конго я всегда выбирал Конго, Уганду... Они мне напоминали моё детство. В Африке, Азии и Латинской Америке я всегда искал своё Полесье» [15, с. 61-62]. Последний раз на своей малой родине в Пинске Капустинский был в 1999 году с группой Польского телевидения. Название сборника «Возвращение» символично, ибо возвращение на «малую родину» для каждого человека – это потребность души, жизненная необходимость, ведь там всегда ждут воспоминания о лучших годах твоей жизни, а потому «малая родина» – это всегда глоток свежего воздуха, живительная влага, радость прозрения...

В представлении Р. Капустинского, Пинск – это своеобразный полесский Вавилон, заселенный белорусами, поляками, евреями, украинцами, русскими. «Спачуванне землякам, што апынуліся ў палоне складаных сацыяльна-палітычных падзей часу, перарасло ў свядомую грамадзянскую пазіцыю пісьменніка – умець прыслухоўвацца да праблем жыхароў розных куточкаў планеты...», – отмечают М.И. Яницкий и А.Ю. Яницкая [25, с. 294].

В стихотворении «На выставке “Фотографии польских крестьян до 1944 года”» [15, с. 72] Р. Капустинский с нежностью и гордостью вспоминает о своих родных – о любимой бабушке, о дедушке Богдане – представителях своего рода, которым выпала горькая судьба.

*Всматриваюсь в тебя  
бабушка  
когда так сидишь*

\* Здесь использованы материалы вступительной статьи И. Демид «Великий поляк из Пинска» из кн. [15]. – С. 59.

*в накрахмаленных кружевах  
в длинной юбке  
перед избой в Рокотичах  
дата под фото  
1913*

*Ещё не знаешь  
о чём я знаю уже давно  
через год всё затрещит  
двинутся армии*

*но пока здесь тишина  
мало людей  
только слышу  
девушка девушке  
– этот в австрийском мундире  
вылитый Богдан.*

Его стихотворения – это всегда раздумья о пережитом, заинтересованность мгновениями реальной жизни, попытка заглянуть в будущее. В них гармонично сочетаются демократизм мировоззрения представителя цивилизованной Европы и свойственные полешукам гуманизм и сочувствие.

Его верлибры поражают глубиной и мудростью: определяя свой путь, лирический герой выбирает одновременно и судьбу, не только свою, а и будущих поколений. Он тем самым определяет возможность продолжения жизни на Земле. Никто не знает, будет ли выбор правильным, но изменить его никто не вправе, и потому как заклинание звучат слова Р. Капустинского в стихотворении «Экология» [15, с. 107]: «не проклинай/ ни небо ни землю/не осуждай мир/не брани судьбу». Ведь всё, что произошло, – это твой выбор.

*Уж если увязнем в колеях польской дороги  
это значит  
окончательно увязнем в песках истории  
и даже погоняемые кнутом кони наших грёз  
не сумеют сделать ни шагу  
поэтому  
посмотри  
летит птица  
шумит лес  
мирно путешествуют майский жук  
и божья коровка  
жизнь продолжается*

Здесь автор говорит не столько об экологии природы, сколько об экологии души человека. Он уверен, что только сохранив душу, человек сможет сохранить и жизнь на планете. А чтобы сохранить душу, человек должен научиться жить в гармонии с природой.

Призывно звучат слова «послушай свой внутренний голос/ не заглушай его / собственной речью» в стихотворении «Это там» [15, с. 81]:

*Это там –  
сказал голос  
я присмотрелся  
ничего не вижу  
приздумался  
наверное, он хотел сказать  
послушай свой внутренний голос  
не заглушай его  
собственной речью*

О своём поэтическом даре Р. Капустинский сказал скромно, но по-философски мудро в стихотворении «Поэзия – святыня» [15, с. 84]:

*Поэзия – святыня  
в её свежести  
ум начинает пылать  
стихи –  
застывшее пламя*

Всем своим творчеством Р. Капустинский подтвердил эту формулу. Стихи – это двигатель жизни. Они рожают мысль, мысль пробуждает мечту, мечта рождает поиск и выбор пути, а поиск рождает вечное движение к неизведанному. И потому, наверное, жизнь летит, как оторванный «листок от ветки родимой», и успокаивается, только коснувшись родимой земли:

*Лист  
оторванный от ветки  
дрожит летит  
и только земли коснувшись  
успокаивается*

Эти строки легко вписываются в контекст русской поэзии и напоминают читателю о вечном и непреходящем законе жизни, одинаковом для всех времён и народов, о предначертанности судьбы и вечной тяге человека к родным пенатам.

Таким образом, проанализировав лишь отдельные судьбы и произведения поляков Пограничья, можно утверждать, что здесь, на Брестско-Подляском Пограничье, в равновесном состоянии находятся «свое», этническое, и «чужое», поликультурное, которые чудесно гармонируют и обогащают друг друга. Это свидетельствует об историческом и литературном здоровье, о том, что талантливая личность, какой бы этнической принадлежности она ни была, всегда найдёт дорогу к своему читателю, потому что принадлежит не этносу, а миру.

#### ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Anna Czobodzińska – Przybysławska, Halina Kostka – Chybowska. Na marginesie twórczości literackiej. Malarskie pasje Józefa Ignacego Kraszewskiego. – Muzeum J.I.Kraszewskiego w Romanowie, 2007.
2. Antoni Trepinski. Jozef Ignacy Kraszewski. Panstwowe wydawnictwo naukowe. – Warszawa, 1975.
3. Bibliografia literatury polskiej «Nowy Korbut». Tom 12. Józef Ignacy Kraszewski. Zarys bibliograficzny. – Krakow: Wydawnictwo Literackie, 1967.

4. Бобков И. Этика пограничья: транскультурность как белорусский опыт// Перекрёстки, № 3-4. – Минск, 2005. – С. 133.
5. Вінцесь Каратынскі ў беларуска-славянскім літаратурным узаемадзеянні: матэрыялы Рэсп. навук. канф. (Мінск, 29 верасня 2006). – Мінск: Беларус. навука, 2006. – 167 с.
6. Гусева Р. Трэтья попытка: Лирика, переводы. – Брест: Альтернатива, 2010. – С. 143.
7. Гусева И. На языке любви. – Брест: Альтернатива, 2010. – С. 146.
8. Демид И. Великий поляк из Пинска. В кн.: Рышард Капустинский. Возвращение: Стихотворения. Перевод с польского на русский язык В. Гришковца, на белорусский – А. Шушко. – Минск: Литература и искусство, 2007. – С. 61–62.
9. Dąbrowska H.M. Tytan pracy. Opowieść o J. I. Kraszewskim – Warszawa, 1955.
10. «Заставацца сабой...»: Гніламедаў Уладзімір / Уклад. Мікола Мікуліч. – Мінск: выдавецтва «Четыре четверти», 2012. – 574 с.
11. Jozef Ignacy Kraszewski. Pamętniki Zaklad narodowyim. Ossolinskich – Wrocław, 1972.
12. Igliwia Smak. Antologia wierszu o Podlasiu. Romanow – Międyrzec Podlaski – Biała Podlaska, 2001.
13. Исследование проблем белорусско-польского пограничья в контексте расширения Евросоюза. – Мн., 2004.
14. Kajetan Kraszewski. SILVARERUM. Kronika domowa. – Warszawa: Wydawnictwo Ancher, 2000.
15. Капустинский Рышард. Возвращение: Стихотворения. Перевод с польского на русский язык В. Гришковца, на белорусский – А. Шушко. – Минск: Литература и искусство, 2007. – С. 84.
16. К Крашевскому в Романов и Долгое: Стихи и проза / Сост. Р.Н. Гусева. – Брест: Альтернатива, 2009. – 115 с.
17. Крашевский Ю.И. Дары пилигрима: Стихи / Пер. с польского И. Гусевой. – Брест: Альтернатива, 2010. – С. 29-30.
18. Крашевский Ю. Два слова / Пер. И. Гусевой. В кн.: Гусева И. На языке любви. – Брест: Альтернатива, 2010. – С. 111.
19. Кохановский Г. Беларусь – яго калыска // Мастацтва Беларусі, № 12, 1987.
20. Каратынскі В. Творы / Укл., прадм. і каммент. У. Мархеля. – 2-е выд., дап. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1994.
21. Каратынскі В. Творы // Мархель У. «Чым хата багата...» (Прадмова да кнігі). – Мінск: Мастацкая літаратура, 1981.
22. Мальдис А. Гении не делятся // Газета «Советская Белоруссия» от 23.12.2008.
23. Nigdyie nie drukowane poezje i urywki prozą. Z teki posmiertnej. (Wyd. K. Łozinska). – Warszawa, 1912.
24. Poezje J. I. Kraszewskiego. Oprac. W. Betza. – Lwow, 1888.
25. Яницкий М.И., Яницкая А.Ю. Творчасць Р. Капустинскага ў кантэксце развіцця сучаснага мастацкага слова і публіцыстыкі/ Краязнаўства як адзін з накірункаў вучэбна-выхаваўчай работы ў школе і ВНУ. – Брест: Альтернатива, 2008. – С. 294.
26. Анталогія беларускай паэзіі. В 3 т. – Мн.: «Мастацкая літаратура», 1993. – С. 186.

## СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

### *Размышления над книгой Виктора Чекирова «Военные повести и рассказы»*

*Скажи мне, мама, сколько лет на свете / Мы будем жить у Господа в раю,  
Не ведая о горе и о смерти / И теша душу детскую свою?..*

*И разве не вернется ликованье, / В блаженный мир счастливой новизны  
Тоскливый голос прежнего страданья, / И не приснятся нам былые сны?..*

**Вениамин Блаженный**

*Жизнь – вечная память былого.*

**Светлана Евсеева**

Все дальше и дальше уходит от нас трагический и великий сорок первый. Но по-прежнему продолжают открываться неизвестные факты истории Великой Отечественной войны. Казалось бы, что нового можно добавить к уже сказанному? «Большое видится на расстоянии», – гениально изрек в свое время Сергей Есенин. Действительно, на некоторые события можно взглянуть по-иному, можно испытать психологический шок, когда на страницах книги, словно на твоей ладони, вдруг начинает трепетно биться маленькое детское сердце, заполняя живой болью пульсирующее пространство листа, и твое собственное сердце подчиняется и отвечает его ритму. Такую книгу, обжигающую разум и пронзающую душу нечеловеческим страданием, хочется выделить из огромного потока литературы, посвященной войне. «Хлеб нашего детства» – определяющее произведение в творчестве Виктора Мустафовича Чекирова, воронежского, а точнее, русского писателя в высоком понимании этого значения, до последнего дыхания преданного Отчизне, эта книга – судьба, книга – потрясение, впечатляющая непостижимой автобиографической силой правды.

«Дети и война – нет более ужасного сближения противоположных вещей на свете», – считал Александр Твардовский. Строки Виктора Чекирова из его повести «Хлеб нашего детства» – убедительное свидетельство этому: «Самой

болевой точкой оказались дети и мать; война ударила по ним со всей жестокостью, а особо – по матери. Рвала материнское сердце страданиями детей. Дети оказались непереносимым ужасом матери». Произведение выдержано в строгой черно-белой палитре, но, как отмечает писатель Евгений Носов, в нем «нет мрачности», а наоборот – присутствует «ясная вера в силу добра и человеческого духа».

Поколению третьего тысячелетия непросто погружаться в то военное время, хотя это крайне необходимо. Пылают войны на планете, буквально рядом, в соседней Украине, погибают братья славяне, и где гарантия, что завтра беда не войдет и в наш с вами дом? События Великой Отечественной войны не стали «преданиями старины глубокой», потому что были судьбоносными для всего мира. Тема патриотизма сегодня приобретает статус национальной идеи. Нам надо укрепить общенародную память, на которой возрастает грядущее, вернуть во всей полноте и мощи нашу Победу, носить ее в себе и праздновать вечно. Это наша духовная опора.

Ради Победы много пришлось вынести народу. «Я обожу взглядом хату: четыре голые стены. Хоть шаром покати – ни еды, ни топки... Посредине – желтый потрескавшийся столб, опора временки, символ нашей нужды», – скупно пишет Виктор Чекиров, вспоминая свое детство. В повести отсутствуют острые сюжетные повороты, зато нам открывается обнаженная душа автора.

Дети играют в дочки-матери в сорок третьем году, играют, как виртуозные актеры, талантливо копируя взрослых, по-своему, по-детски, но искренно и всерьез. И они уже понимают, что «матерью быть невыгодно: надо отдавать свою долю детям». Им приходится постигать суровые законы войны, когда многие получали похоронки. Чужое горе тогда становилось общим горем. Пока человек чувствует боль – он жив, пока человек чувствует чужую боль – он человек. И игра приобретает вдруг совершенно немислимые повороты: дети способны представить, что они сыты, что не хотят хлеба, словно предвосхищая время, заглядывают далеко вперед. Ведь у детей нет прошлого, лишь настоящее и будущее. Не потому ли с немым укором взывают к нам их души, распятые войной?

Центральная картина повести, максимально приковывающая к себе внимание, – это дети у окна. «Мы со Скелетиком у окна. Затейка вертится у ног, повизгивает, подпрыгивает, кладет передние лапы на подоконник. Ей тоже хочется на улицу. А если на улицу нельзя, то хоть взглянуть, что там делается... Мы все трое хорошо понимаем друг друга. Одни у нас мысли и желания. Но Затейке легче прожить: ей не нужны валенки, телогрейка, шапка. Ее одежда для любого времени гожа; сердце екнуло, отозвалось, уловило рифму. Затейке надо поесть найти: а нам еще и холодно, и не в чем на улицу. Зима отрезает нас от всех одетых, обутых, и нам остается только вспоминать и думать». Действие происходит зимой: один долгий-предолгий зимний день, тягостный и напряженный.

Поражает детская простота, умение радоваться жизни, способность через беспросветную тоску и тревогу увидеть прекрасное, восторгаясь метелью, «белым сыпучим океаном» зимы, что сравнима с кошкой, тоже «белой, пушистой, мягкой». «А просиди-ка целую зиму у окна», тогда «какой сказкой, каким невозможным сном покажется лето», – рассуждают маленькие герои

Виктора Чекирова. Дети не были бы детьми, если бы не верили в лучшее, ведь «все равно весна придет и все равно война кончится».

«Надо быть человеком», – понимает герой повести «Хлеб нашего детства». Как остаться человеком, когда все вокруг дышит бесчеловечностью? Из ответа на этот вопрос ясно, почему мы победили в той войне. Даже дети могли сконцентрировать в себе невероятную силу долготерпения, когда говорили, придавая своей игре вполне реальные очертания: «Фронт есть фронт. А может, наш фронт тоже первый, весь народ же. Все воюем! Мы тоже на войне». И впечатляет глубинной мудростью диалог ребенка с собственной душой: «Я думаю и радуюсь, что я думаю. Мне нравится думать, и я думаю. Я уже много передумал... Если не думать, да еще у окна, – загнешься. А думаешь, и везде побываешь. Не важно, что в хате целый день... Про все забудешь, и не холодно, и ни валенок, ни телогрейки не надо, – все можно представить и везде побывать. И на улице, и везде, и кем хочешь. Когда я думаю, я все могу».

Внимательный и чуткий читатель вместе с персонажами повести постигает истинные уроки гуманизма, впитывает ту веру, что была у голодных и обездоленных детей, веру в свои внутренние возможности, когда человеческая жизнь – постоянное, непрерывное развитие духа.

Настоящий нравственный подвиг Виктор Чекиров совершил, пройдя через военное детство, а писательский – рассказав об этом в повести, достоверно и правдиво передав атмосферу сложного периода в истории страны. И невольно задумываешься: выстояло бы нынешнее поколение, если бы на нашу долю выпало что-либо подобное? К сожалению, однозначного ответа нет, закрадываются сомнения. Едины ли мы сегодня? Для тех ребят, живших в сплоченном ожидании Победы, такого вопроса никогда не стояло. «Мы тоже воюем, мы тоже тыл и передовая, мы победили! Мы выжили!» – с гордостью заявляют они. Выжили – без еды, одежды, зато с одной потрепанной и зачитанной до дыр книжкой «Не забудем, не простим!» – Скелетик, Наташка, Галька, Милка, Жорик, которые не могли даже представить, «кроме еды и одежды, что еще будет после войны». «Я тороплю время. Тороплю день, тороплю детство, тороплю Победу. Скорее конец войне! И долгожданная Победа – скорее, скорее!» – как молитва звучат их слова.

Образ матери – ключевой в повести, связующий происходящее и олицетворяющий подвиг солдаток, вдов, не верящих страшным похоронкам и умеющих ждать, матерей, спасающих детей во имя будущего. И герой повести Виктора Чекирова искусно подмечает, «что у всего свои глаза». «Но самые удивительные глаза у нашей мамки», в которых весь «белый свет ненаглядный», – делает он необычайное открытие, заставляющее забыть даже о постоянном чувстве голода. «А когда мы по неделе не евши, у матери не глаза, а крик, и отчаяние, и живая боль», – пронзительно пишет автор. Его размышления о женской доле времён лихолетья заставляют вспомнить легендарные стихи известного поэта из Беларуси Анатолия Аврутина «Стирали на Грушевке бабы...», посвященные женщинам военной эпохи, их последние строки гениально просты: «И дружно глазами тоскуя, / Глядели сквозь влажную даль / На ту, что рубаху мужскую / В тугую крутила спираль...».

Даже в самые трудные времена человек «рад жить – несмотря ни на что». Дети войны умели дружить, они были объединены уникальным «чувством ватаги», чувством фронтового братства, когда ради товарища – в огонь



и в воду! «Мы не озверели, не рвем изо рта – наоборот! – делимся последней крохой», – вот подлинное свидетельство биографии того поколения. Увы, подобное «уличное братство» напрочь забыто в наше компьютерное время, оно чуждо современным индивидуалистам-одиночкам. Для нас и понятие Родины уже означает иные ценности, а для тех мальчишек и девчонок оно неизбежно в душе, каждому было, как говорит Виктор Чекиров, «все ясно, только сильнее заколотится сердце. И ни капельки не сомневаешься, как будто и знал всегда, с этим родился: это все она и есть, РОДИНА». Слово, в котором каждая буква заглавная.

Но все на свете когда-то заканчивается. «Наконец-то кончился день. Длинный-длинный. Здоровски мы прожили его! Мы играли во взрослых... И я был всем и все переживал», – делится с нами сокровенным автор повести. «Узники зимы», засыпая, мечтают о Победе, торопя свое горькое детство. Родина, мать, отчая земля и хлеб – священные символы для русского человека, усвоенные им с младенчества. «Подвиг – это всегда проявление духа, печать духовности народной», – убежден Виктор Чекиров. Вот и писатель Сергей Луценко, прочитав «Хлеб нашего детства», откровенно скажет: «И вы уже не сможете смотреть на мир так, как смотрели до знакомства с маленькими героями... Как не могу теперь смотреть я...». Разве эта каждодневная душевная работа, которую совершают персонажи повести, – не человеческий подвиг?! И Виктор Чекиров дает нам надежду, берущую верх над трагическими интонациями военного повествования. Он любит своих героев, ощущает их тоску по счастью, сердцем прочитывает их недетские мысли. Работа учителем в сельской школе не прошла для него бесследно.

Несмотря на сложность отражения военной темы, Виктору Чекирову удастся выполнить поставленную задачу – не только откровенно изложить собственную биографию, но и рассказать о близких, друзьях, знакомых, о тех обычных людях, чьи судьбы вливались в общую судьбу большой страны. Великой жизнеутверждающей силой пронизана и вторая часть повести, хотя изначально она потрясает картиной войны, вселяющей смертельный страх. Ведь война страшна не только колоссальными разрушениями, ее ужас заключается прежде всего в том, что она безжалостно калечит человеческие души. «Нет хлеба! Нет!!!.. Нету человека на земле, который не хотел бы сейчас есть! – Мать сорвалась и кричит все с теми же вытаращенными от боли глазами – от боли в желудке, в душе, от нестерпимой боли в сердце за голодных детей, за проклятую войну и долю свою военную, проклятую». Невозможно спокойно воспринимать строки, полные отчаяния, невозможно оставаться безучастным, равнодушным: дети просят хлеба, а у матери его нет. Что может быть мучительней? И мать решается на последний шаг: убить Затеяку ради спасения Скелетика, маленькой Кати. Но девочка не дает совершить задуманное, умоляя мать остановиться, она умирает. Откуда были в детях такая душевная тонкость, такая доброта: щадя мать, погибая от голода, не просить еду?! «Мы будем терпеть до Победы!» – ошеломляют их мужественные слова, равносильные подвигу.

Великая Отечественная война – высочайший пример народного самопожертвования. Здесь важны и писательская ответственность, и преданность литературной традиции, обращенной к народной жизни, и желание сказать правду. У Виктора Чекирова, как и у Михаила Шолохова, – «на первом плане

всегда человек». Тяготы военного времени не смогли заслонить собой идею, ради которой все жили. «Все напрягались смертельно и смертельно тянули на себе эти самые тыловые будни – аж жили на лбу, и мы из жил лезли, ворочали, горбатились и тихо терпели невыносимое, пухли с голодухи, падали от истощения и умирали тихо, а душой исходили за фронт, за адскую боль передовой, где были такие же, как мы, люди, и кожа, и нервы, и боль у них – все было такое же, как у всех», – это горькое свидетельство из повествования Виктора Чекирова. Вот, пожалуй, и вся правда о «цене Победы», о ее 1418-ти днях. Великая Победа бесценна, поэтому ее военная тайна заключается не только в сухой статистике. Если к ней присовокупить все страдания людские, то подсчитать наши потери в Великой Отечественной войне вообще немислимо.

Случайным в жизни ничего не бывает. Испытав гнетущее отчаяние войны, человек остается с ней навсегда. «И смотрю, и оцениваю, и меряю тем временем и мерою той», – находим подтверждение и у Виктора Чекирова. Непутихая скорбь имеет свое продолжение и в маленькой повести «Христя». «Сейчас начнется наша попытка – Христя сядет пить чай. Христя у нас торговка... Я и сам слышу, как пахнут помадки и горячий забеленный кипятком... У меня начинает болеть душа при одном только взгляде на мать – какая это мука для матери держать вырывающуюся, орущую, голодную дочь, видеть, как Христя пьет чай на наших глазах! Я исхожу слюной, меня тошнит от голода, тоски и злости, я ненавижу Христю...» – так рисует автор драматическую сцену своего детства. И не будем поспешно никого судить, ведь война порой обнажает потаенные и неприглядные стороны человеческой природы.

У Виктора Чекирова своя философия войны, по которой человеку надо не просто выживать, но и при этом не терять, а обретать себя. Согласитесь, что такое под силу не каждому. Он показал духовную красоту и стойкость русской женщины, воплотив эти качества в образе матери. Невероятно эмоциональные эпизоды в повести, характеризующие мать: история возвращения на старое кладбище крестов, снятых детьми с могил, чтобы спастись зимой от лютого холода, чем-то топить печь, и «страшный миг» – ее собственное решение уйти из жизни – моменты, которые уже никак не вычеркнуть из памяти. «...Не держите зла. Зачерствеет душа – как жить? – опять обращается к нам мать, чтобы мы простили Христю». Мать объясняет детям: Христю сломала война, смерть близких, мужа, сына. «Война всех достала...», – так говорили тогда. Впоследствии судьба не пощадила и ее, жизнь Христя закончила среди чужих, без присутствия «родной души около...». Война – мистификация зла: и вокруг, и внутри людей. Но мать, пройдя ее мытарства, «не стала хуже», беспокоясь, «какими мы вырастем». Вот вам и достойный пример воспитания! «Мена захватывает приступ нежности к матери. Так жаль мать. Даже Христю жаль», – все пересиливает любовь, и на все нужно отвечать любовью. Почему же сегодня не бережем вечные истины, заложенные нашими предками?

«Кусок хлеба и чтоб в тебя не стреляли – это ли не счастье, Господи», – разрывает пространство книги крик материнской души. Многие с тех пор забыто, мы в полной мере не ценим достигнутое и отвоеванное такими невероятными усилиями. И Виктор Чекиров, безусловно, останется в русской литературе, если даже не рассматривать его остальное творчество, прежде

всего как автор этих двух небольших произведений, нравственно значимых, объединенных общей военной темой.

В зеркале исторического времени отражается и документальное воспоминание «На родные могилы – за живою водою», написанное в лирико-философском, исповедальном ключе, которое Виктор Чекиров посвящает своему поколению. В каждом из нас живет память о родной земле, она с нами с детства и до последних дней жизни. Светлой любовью к самому дорожному месту на земле проникнуты и авторские строки: «В Острогожске, на родине предков, у родных могил, на берегу Тихой Сосны – единственное заветное место, где мне так сладко и так щемяще горько думается о Вечности, о земном нашем брэнном человеческом уделе... И все родное – «до боли сердечной». А сам Острогожск – как родительский дом, что навеки с тобой и во сне снится, наяву грезится. И все в нем для тебя свято, как заветные семейные реликвии». В этих дорогих сердцу местах, где сливается земное и вечное, – только здесь сокрыты для него все тайные смыслы.

К непреложным истинам обращается Виктор Чекиров, когда пишет, что «перед временем, как перед Богом, все равны...». Он давно уверовал и не сомневается: «Есть Бог, есть». Русский народ всегда держался на вере, она всегда определяла основы его бытия. И для Виктора Чекирова архиважно приятие сакрального, абсолютного добра. «А многомерность Божьего времени ощутил бессмертной душою. Ощутил присутствие Его. Он открылся тебе через родимый берег, через любовь к “родному пепелищу”. Подтвердилась библейская истина: “Все дороги ведут к Богу”. А тебе говорили, что они ведут в Рим. Тебе открылся Он, когда и сам ты, как говаривали наши деды, уже на “Божьей дорожке”. Но лучше поздно, чем никогда», – заключает автор, подводя итог прожитому. И мы совершаем вместе с ним целое путешествие в былое, совершаем наяву. Оживают голоса ушедших друзей, и мы идем забытыми улицами, предупреждённые: «Ходить по Острогожску, по родным местам, – редкий праздник и труд душевный».

Каждый народ живет в трех измерениях, словно проецируя модель своего бытия: первое – наши предки на небесах, второе – это мы, третье – наши потомки. У Виктора Чекирова трепетно-бережное отношение к культуре, к истории и стремление передать его людям, чтобы они гордились историей страны как бесценным даром, доставшимся им в наследство. «Вечность бродит по Острогожску великими тенями. Улицами нашего города ходят Крамской и Станкевич, Рылеев и Никитенко, Костомаров и Милицына, Комарова, Маршак и Троепольский и многие славные, достойные нашей памяти люди... И пока еще не задумывается иной мой земляк, что все мы пришли из нее, Вечности, пришли на миг и через миг снова уйдем в нее навсегда, и что на свете, кроме нас, может быть, и нет ничего, а мы – лишь мгновение ее. Но именно из нас, из коротких мгновений ее, и складывается она – Вечность». В воспоминаниях Виктора Чекирова слышится поступь самой Истории.

Заглядывая в минувшее, писатель достаточно критически анализирует настоящее, приходя в своих строгих оценках к «безоговорочному осуждению и неприятию нашего сегодня». И он, бесспорно, имеет на то право. В документальном повествовании автора мы также чувствуем высокую степень концентрации боли, концентрации правды. Его боль за судьбу Родины с годами становится всё пронзительнее. Невероятно сложно тому поколению, которое

все мерило «по-военному», «по-честному», которое «взрастила и воспитала» война, определив их суровые характеры, поколению детей героев, воспринимать совсем иные реалии нового века. У поэта Дмитрия Ковалева есть точные строки, адресованные тем ребятам: «Как лес прореженный над вороньем, / Высокое, прямое поколение». Они были готовы на подвиг ради великой цели, ради Отчизны, ради Победы и друг ради друга: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15.13).

Как писатель Виктор Чекиров ставил себе трудновыполнимую в наше время задачу – достучаться до современников, до их теплохладных душ. Его воспоминания несут глубокую нравственную оценку, основываясь на прочной исторической почве. «Сегодняшний наш хлеб – горше послевоенного», – такие неутешительные откровения приходят к автору. Ведь власть действительно «не слышит» собственный народ, он стал уже «неинтересен нынешним хозяевам». Мы особенно много и часто говорим о мире, когда начинаем бояться войны. Но ведь войны бывают всякие: и внешние, и внутренние, и зримые, и незримые. Которая война страшнее – еще вопрос. Впрочем, чему удивляться, наше общество давно живет в духовном разладе, давно сданы нерушимые границы Победы, завоеванной в сорок пятом, Победы, вошедшей в генную память народа. «... Мы предали их подло и позорно», – говорит Виктор Чекиров о героях Великой Отечественной войны. Мы предали народ, развалив СССР. Стало постыдным даже произносить это слово. А ведь мы жили в единой стране, и как случилось в одночасье, что некоторые уже произносят: не в **нашей**, а в **этой** стране, словно дистанцируясь от чего-то позорного и чуждого? Да, безусловно, не все было гладко, не все принималось на веру, но было главное – «величие народного подвига», и это мы осознали только сейчас, потеряв великую Державу. Может, поэтому Виктор Чекиров в очередной раз и напоминает нам, что у войны «и детское лицо», «и женское поседевшее лицо» – «одно страшное лицо войны» – «общенародное, многонациональное лицо Великой Отечественной...».

Именно то поколение двадцатого столетия совершило беспримерный подвиг – восстановило страну из руин, подняло ее «до космических высот», превратив в сильную мировую Державу. Оно, пройдя дорогами войны, блестяще выполнило и всемирно-историческую задачу возрождения России. И вчерашние воины-орденоносцы, защитники Родины, смогли стать высококвалифицированными рабочими, мастерами производства, Героями Соцтруда, писателями, учителями, космонавтами, видными учеными. Народ тогда жил в колоссальном созидательном и творческом порыве. Увы, подобное утеряно в наше время, на смену энтузиазму труда пришел, к сожалению, энтузиазм потребления.

За новую Россию, за ее поколение болит душа писателя. Автор убежден, что оно в конечном итоге – выберет Россию. Из далекого «победного 45-го» призывают голоса тех мальчишек и девчонок: «Ты давай по-честному!». Правда истории все равно восторжествует, мы вернем большую Победу. «Без народа ничего не получится», «Хоть через сто лет, а будет по справедливости, по-Божески, то есть по-русски, по-человечески» – эти мысли Виктора Чекирова проникнуты подлинной сердечной правдой. И невольно задумываешься: что есть человеческая жизнь и судьба, что есть корни, которые нужны всему живому. Для Виктора Чекирова – это речка Тихая Сосна, его святые берега

памяти. Постигание простых вещей, наверное, самое сложное в жизни. Но человеку, как пишет автор, «остается память, долг перед ушедшими, перед живущими».

Виктор Чекиров привержен традиционным идеям духовности, народному слову, идущему из глубины русской провинции. В лучших классических традициях созданы и очерки о любимом Острогожске, окрашенные поэтической тайной. Звучит необычное «Острогожское танго», когда «весь Острогожск засыпан листьями, как праздничными конфетти, как снегом зимою. Осень в Острогожске божественно красивая!.. И краски у нее российские – яркие, светлые, радостные – до самого последнего черного дня...». Произведения Виктора Чекирова полны чистоты, выразительности, свободного полета мысли. Увы, уходит эта широта восприятия мира из нашей литературы.

«Главное дело писателя напомнить людям о душе, о человеческом долге...» – считал Виктор Чекиров, четко зная для себя, что «и писать будем, как всегда писали на Руси – о насущном, народном». Верой и надеждой дышит его проза, и все потери, все неудачи, все ожидания будут оправданы светлым и радостным днем. Ведь и те, кто ждали Великую Победу, – победили, потому что в самом ожидании уже содержится огромная плодотворная сила.

Любой живущий на земле творит личную книгу судьбы. «У каждого из нас есть подобная книга, каждый пишет ее ежедневно и всю жизнь», – напоминает нам автор. «Хлеб нашего детства» – первая и главная Книга жизни Виктора Чекирова, книга, принадлежащая всем поколениям, взаимно ответственным за будущее.

В российском городе Эртиль открыта мемориальная доска воронежскому писателю Виктору Мустафовичу Чекирову на здании, где он работал ответственным секретарем редакции районной газеты «Трудовая слава». Уже год, как писателя нет с нами, но живут особой жизнью герои его книг, живет Острогожск, исторически величественный, живописный город, ярко воспетый им, а вместе с ним продолжает жить и русская душа Виктора Чекирова...

## Воспоминания

---

*Любовь ТУРБИНА*

---

### ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ С ПАПОЙ

Сегодня, 11 августа, по каналу «Спас» студентка театрального института читала отрывок из романа «Война и мир». Уже не первый раз на него натываюсь случайно – от лица княжны Марьи, о последней ночи перед кончиной старого князя Болконского; его первые слова утром, когда она решилась наконец к нему зайти, были: «Погибла Россия»...

Невольно сразу всплывают эти же слова, сказанные моим отцом в день его кончины, слово в слово. Напомню только, что в романе это 1812 год, французы наступают, со дня на день в имение, где живёт Болконский с дочерью, придут враги. А папа умирал в московской больнице в июле 1998 года: кто наступал на Россию тогда? Так случилось, что в этот последний день я была у его постели в реанимации, мне разрешили находиться рядом потому, что медицинскому персоналу уже очевидно было – это агония. И вот я сижу возле папиной постели – он весь обвешан трубочками после операции на желчном пузыре; он просит меня снять хотя бы одну из них, а я не решаюсь: вдруг станет хуже? Подходит главврач отделения, безнадежно машет рукой на ту же папину просьбу и спешит уйти, а папа мне говорит: «То, что я умираю, – это естественно, но мне мучительно думать, что Россия погибла». Я не успела ничего сказать, когда он добавил с бледной улыбкой, как бы мне в утешение: «Как ныне собирается...». А вскоре потерял сознание, на осциллографах замелькали остроугольные синусоиды, и меня попросили выйти...

Папа обладал острым национальным чувством: Россия была у него в крови, он чувствовал её состояние нутром. В конце шестидесятых семья наша жила в Минске не просто благополучно, но и с ощущением полного благоденствия. Папа руководил созданным им Институтом генетики и цитологии АН БССР, вокруг него роились ученики, из которых сформировалась вполне результативная научная школа. Был обжитой дом в академическом поселке Крыжовка, сад, где разрослись посаженные им самим редкие породы деревьев из ботанического сада. И вдруг

он произносит знаменательную фразу: «Хочу в Россию». Как это понятно мне теперь – он почувствовал в самом начале назревающие в стране тектонические сдвиги.

Я не помню, что говорил папа при переезде из русского Ленинграда в белорусский Минск. Пока мы там жили, считал, что обязательно надо учить белорусский язык. Но я перешла в минскую школу уже в шестом классе, и никак не получалось грамотно по-белорусски писать. Честно сказать, и по русскому письменному не тянула на твердую пятерку. А троечкой по белорусскому лишала себя надежды получить медаль, которая увеличивала шанс поступления в университет...

Но не буду уходить от главной темы; только вспомнилось, что Белоруссию, куда его пригласили в 1954 году, избрав академиком АН БССР, папа искренне любил, уважал белорусский язык. Но при этом оставался русским и потому чувствовал нарастающий национализм. Да, и в Белоруссии тоже. Приехавшие после войны из Ленинграда ученые, среди которых был и мой отец, подготовили себе смену – национальные кадры. «Мавр сделал свое дело – мавр может уйти». Конечно же, никто так говорить не собирался, и оставшиеся в Минске папины коллеги по Ленинградскому университету работали до последних лет, их имена присвоили институтам, которые они создали. Но не того жаждал папа – ему хотелось движения, развития. Очень кстати его избрали во Всесоюзную сельскохозяйственную академию, сокращенно ВСХНИЛ в 1968-м году, и он наметил переезд в Москву, где сразу после избрания получил должность академика-секретаря отделения растениеводства при действующем тогда президенте Лобанове, еще сталинском наркомом. Папе было под 60, но перед Лобановым он чувствовал себя «мальчишкой и щенком». До окончательного переезда всей семьей в Москву ездил каждую неделю на новое рабочее место, возвращаясь в Минск только на выходные.

А в сентябре 1971-го года папа с мамой и Васей – учеником 9-го класса – переехали в Москву, а мы с сестрой – каждая со своей семьей – остались жить в Минске и впоследствии почти тридцать лет жили с папой в разных городах. Конечно же, мы с маленькой Таней ездили к родителям в Москву на все праздники; потом я поступила в Литературный институт в Москве на заочное отделение; дважды в год на сессию приезжала, останавливалась у них на Тверской, дом 9. То есть мы продолжали видеться более-менее регулярно. Но очень редко мне удавалось поговорить с ним не на бытовые или деловые темы. Помню только один такой разговор: заведя речь о поэзии, я прочитала папе стихотворение Николая Гумилева «Слово». Папа был поражен, он считал, как и писалось в популярных изданиях его молодости, что Гумилев свои стихи о путешествиях выдумывал «из головы» и вообще был пустейший малый. И у отца осталось стойкое предубеждение даже к имени поэта, он даже не сразу поверил, что это именно он – автор стихотворения «Слово», всё качал головой. А потом, себе в утешение, начал читать любимого Есенина: «Будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне...»

Вскоре вернулась из магазина мама, сказала, что пора обедать, разговор оборвался на полуслове. И ещё – когда я навестила папу в санатории под Москвой после инфаркта, задолго до рокового 1998 года, он сказал мне: «Когда я лежал в реанимации, почти без сознания, ко мне вернулись стихи. Я был так счастлив!»

Но сейчас важно сосредоточиться именно на том, последнем, месяце его жизни: в больнице я могла каждый день быть возле него. До сих пор считаю, что мне повезло: когда папе стало плохо, мне позвонили на дачу в Крыжовку, откуда я ездила на работу, дочь уговорила дежурившую на будке бежать к нам на дачу с тревожным известием, и мне чудом удалось вечерним поездом уехать в Москву.

Это была необычная ураганная ночь – утром по Москве валялись стволы упавших деревьев, преграждая дорогу машинам и автобусам. И через несколько лет этот ураган вспоминался как один из самых опустошительных... А я с вокзала поехала в больницу и сразу в коридоре буквально наткнулась на папу, которого везли на каталке, – ему только что сделали надрез для отвода желчи из организма. Это было 1-го июля, и первая моя мысль: слава Богу – живой!

Судьба подарила мне целый месяц жизни рядом с отцом. Да, чуть не забыла – в конце мая он прислал мне в Минск письмо – второе в жизни! Это была новая редакция его поэмы о княгине Ольге: прежнее окончание носило характер чисто языческий: «...и славят Перуна, и славят Велеса». А в последней редакции поэмы, присланной в том письме, последние строки звучали уже по-православному: «Мы все человеки, судить нам негоже \ волею Божьей прощенных. \ Аминь!» – ему важно было уйти из жизни по-христиански. Только через два года после его кончины нам с Таней удалось напечатать поэму отдельной книжкой с прекрасными иллюстрациями художника Леонида Феодора...

Папа лежал в шестиместной палате 50-й московской больницы, где работал и работает до сих пор мой брат. В середине того июля папу навестил в больнице В.С. Шевелуха, видный деятель КПРФ, знакомый ещё по Минску; он вышел из палаты возмущенный: «Как, Николай Васильевич в таких условиях? Что же вы мне не сказали? Я бы устроил его в Кремлевку!» Но мы не захотели менять «копей», то есть врачей и место пребывания, «на переправе». Дальнейшее показало, что слова Виктора Степановича относительно его возможности помочь не стоило принимать всерьёз.

В тот месяц (вернее, в те самые 22 дня) у нас отцом было несколько разговоров; один мучает до сих пор: папа попросил меня прочесть ему вслух статью А.Г. Лукашенко в «Литературной газете». Папа, сам агроном по первому образованию – он закончил Воронежский сельхозинститут, – ценил Александра Григорьевича как бывшего директора совхоза, в надежде, что уж сельское хозяйство в республике тот сумеет наладить. Потому что был просто болен от безобразия, которое процветало в России: колхозы распущены, поля заброшены, перебои с продуктами. Именно от папы я впервые услышала слова: «продовольственная безопасность страны». Пока был здоров, папа ходил в высокие кабинеты, тщетно пытаясь довести свои опасения до руководителей. Только пару лет назад эти же слова появились в лексиконе лидеров нашего государства. Мне стыдно, что я тогда не прочитала папе то, что он просил, тем более что он оказался абсолютно прав: даже скептики-либералы признают, что в Белоруссии засеяны все поля и сельское хозяйство на подъеме.

А в середине июля 98 года произошло торжественное перезахоронение останков последнего русского царя и его семьи; папа относился к этому мероприя-



тию более чем скептически, я с ним не соглашалась, но молча. Перед днём рождения не удержалась и спросила о том, что мучило с детства: «Папа, а как ты считаешь – я красивая?» Но папа ушел от прямого ответа и сказал только: «Ты очень обаятельная». Это смешно и нелепо, но давно, ещё в Ленинграде, папа при гостях как-то обронил, что у него две дочери: Люба умная, а Наташа красивая. Эти слова определили во многом наши судьбы...

Главное общение с папой в больнице было не словесным, а тактильным: через прикосновения, просто от присутствия рядом. Один раз, когда я везла папу в инвалидном кресле по коридору, на процедуру или просто так, какая-то дама из женской палаты, наблюдая за нами, спросила: «Это ваш муж?» В тот момент я просто удивилась, только потом, подумав, была по-настоящему польщена! Папа до последних дней был исключительно красив, вернее сказать – импозантен: волнистая седая шевелюра, гордая посадка головы, светлый и четко сфокусированный взгляд.

Прочитала и поняла, что даже не начала о главном: ведь мы с папой не просто проводили время в больнице в разговорах и прогулках – шла смертельная борьба за жизнь моего отца. Уже в тот день, когда я приехала по вызову дочери в Москву, отвод желчи через трубочку на какое-то время отодвинул необходимость полостной операции. Папин возраст делал её априори опасной. И потому было принято половинчатое решение: попробовать сначала раздробить камни в желчном пузыре. Успех применения для этого новаторской на тот момент методики прогнозировать было невозможно: папу мучили несколько раз, заставляя глотать длинный резиновый зонд. Из-за этого была непоправимо поранена глотательная система; папа перестал есть, похудел, и абсолютно напрасно: никакого дробления произвести не удалось. Когда неотвратимая потребность той самой полостной операции явилась снова, папа был обессилен и фактически обречен.

Наблюдать ухудшение его состояния день за днём было невыносимо тяжело. Приходилось принимать на себя все эти неудачные попытки отодвинуть полноценную операцию, не понимая, не зная: какое надо принять решение, на чем настаивать. Однажды ночью увидела зримо наш с папой на тот момент тандем: будто папа висит вертикально над пропастью, а я лежу ничком на краю, вытянув руки, он держится за мои пальцы, чтобы не упасть. Но сил всё меньше, уже понятно, что вытащить его на поверхность не смогу, скорее он утянет меня вниз... За тот июль дважды болело горло очень сильно, только молодой чеснок помогал. Наша с папой биологическая идентичность в этот месяц стала особенно явственной: у меня был тот же тип кожи, что и у папы, мы с ним оба нетребовательны к чистоте воздуха, не очень различали запахи духов. Вот только волосы у меня прямые, как струи дождя, а папину голову до последних дней украшали серебристые кудри. Мне представляется, что я чувствовала его состояние в те дни; он также чувствовал моё, потому в последний момент разжал свои пальцы и скользнул вниз безвозвратно...

А теперь я хочу вернуться к тому отрывку из романа Толстого, который слышу уже не в первый раз: большую часть в нём занимают размышления княжны Марьи о том, войти или не войти ночью к отцу? Утром первое, что он говорит ей: почему

не вошла, я тебя ждал! У нас с папой вышло похоже: в ночь перед его операцией (на которую он дал письменное согласие, но очень боялся в душе) я уехала ночевать из больницы в городскую квартиру: ведь папа лежал в шестиместной мужской палате. Правда, в коридоре стоял диванчик, на котором вполне можно было примоститься, но я не догадалась сделать это. Вернее сказать, я хотела отдохнуть и полноценно выспаться, ожидая, что после операции моё присутствие рядом с ним будет более необходимым и достаточно долгим. Потом бывшие соседи по палате рассказали, что он меня звал... И сейчас не могу себе простить, что в ту ночь не была с ним.

Тогда, сразу после его ухода, почувствовала отчётливо часть папиной души внутри себя. Это невольно подтвердил профессор Е.В. Кулин, встретив меня в первый же день после возвращения в Минск в главном корпусе АН БССР у лифта: «Любовь Николаевна, я ранее не замечал, как вы похожи на Николая Васильевича!»

«Не надо отчаиваться, папа, Россия не погибла», – так после 2002 года мне не раз доводилось мысленно ему говорить. Если бы отец верил в это после операции – так вдруг представилось мне сейчас, – он бы тогда не разжал пальцы...



## Часовня

---

**Протоиерей Павел БОЯНКОВ**

---



### **Претерпевший до конца**

Год 2017-й Церковью нашей посвящен памяти прославленного сонма новомучеников и исповедников Российских – Великия, Малыя и Белья Руси.

Имена многих из них до сих пор ведомы одному Господу. И несть числа тем «рядовым» православным священнослужителям и мирянам, пострадавшим за свою веру от безбожных гонителей. Вдохновлённые их беспримерной стойкостью, и мы, грешные, немощные люди, надеемся с помощью Божией устоять в нынешние лукавые и апостасийные времена.

Человеку, о котором пойдет речь ниже, говоря мирским языком, несказанно «повезло». Его непростая жизнь (больше похожая на житие) привлекла внимание современных историков, стараниями которых увидели свет архивные документы и чудом сохранившиеся письма.

Это – уроженец Белоруссии, протоиерей Виталий Железнякович (1900-1972). Прежде чем начать наш рассказ непосредственно о нем, скажем несколько слов о его отце, сыне и ближайших родственниках. Это позволит читателю лучше вникнуть в обстоятельства и в полной мере оценить реалии того времени, которое теперь вызывает у многих не ужас, а ностальгию.

Итак, отец, Арсений Иосифович Железнякович (1870-е гг. – 15.04.1922), родом из семьи священника, окончил Минскую духовную семинарию, рукоположен в сан иерея в 1898 г. (т.е. перед нами династия, священнический род), служил на ряде приходов Минской губернии, в связи с анонимным доносом был арестован 31 июля 1920 г. Прихожане не убоялись выступить в защиту пастыря. В одном из их обращений написано: «В течение более 10-летней службы священник Железнякович жил, не причиняя никому обид, был ко всем доступен и приветлив». Как бы то ни было, скончался он своей смертью в местечке Еремичи Мирского района Барановичской обл. совсем еще не старым человеком, прожив после ареста чуть больше полутора лет.

Сын, Дмитрий Витальевич, родился в 1923 г., учитель по профессии, работал в д. Остров Гудевичского сельсовета Волковысского района, был арестован

25 января 1945 г., осужден 10 апреля 1946 г. на 10 лет ИТЛ за принадлежность к «белорусской националистической организации» (по другим сведениям – «за антисоветскую агитацию»), освобожден 20 апреля 1956 г., а реабилитирован 17 апреля 1992 г.

Родной брат, Василий Арсеньевич, родился в 1902 г., проживал в селе Тимковичи Копыльского р-на. В начале 1921 г. был арестован и выслан на север. Как минимум до 1932 г. еще был жив.

Двоюродный брат по линии отца, Петр Юлианович Герасимович, священник церкви в селе Вольное Городищенского р-на Барановичской обл., был арестован весной 1949 г.

Муж сестры матери, протоиерей Матфей Александрович Крицук, настоятель церкви Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в селе Большая Лысица Несвижского р-на Барановичской обл., был арестован 28 июля 1950 г., обвинен в «принадлежности к Белорусской народной самопомощи» и в «хранении запрещенной религиозно-философской литературы» (вроде брошюры о Сергия Булгакова «Карл Маркс как религиозный тип»). Осужден 13 октября 1950 г. на 25 лет ИТЛ и 5 лет лишения прав с конфискацией имущества. Погиб в концлагере. Реабилитирован 10 сентября 1993 г. В 1999 г. причислен к лику новомучеников Синодом Белорусской Православной Церкви (о нем достаточно подробно написано о. Федором Кривоносом).

...Вот такая семейная хроника. И есть некоторые основания полагать, что сей скорбный список неполон. Вот – живая иллюстрация понятий «вырвать с корнем, уничтожить как класс».

Общей участи не избежал и о. Виталий. Называвший себя ровесником века, он принадлежал к священническому роду, на протяжении нескольких веков достойно послужившего Православию. Родился он 1 октября 1900 г. в селе Тульговичи Речицкого повета Минской губернии (сечас Хойницкий р-н Гомельской обл.). В 1914 г. окончил Слуцкое духовное училище. С учетом перерыва, вызванного I-й мировой и гражданскими войнами, весной 1922 г. окончил Литовскую духовную семинарию в г. Вильно, 6 августа того же года епископом Полесским и Пинским Александром (Иноземцевым) рукоположен в сан иерея и назначен настоятелем Свято-Вознесенской церкви местечка Еремичи Мирского р-на Барановичской обл. (на место покойного отца). На этом приходе о. Виталий безвыездно прослужил до 1938 г.

В это время его имя становится широко известным среди православных христиан Западной Белоруссии и Польши. Талант публициста, многочисленные статьи, письма, полемические заметки привлекали внимание читателей русскоязычной прессы (к сожалению, их подробной библиографии до сих пор нет, большая часть литературного наследия священника пропала после ареста). Отец Виталий смело выступал в защиту Православной Церкви, ведь тогдашняя политика польских властей и католического костела, сопровождавшаяся захватом православных храмов и другого церковного имущества, была направлена на последовательное окатоличивание и ополячивание православных граждан польского государства. За свою активную позицию в этом противостоянии о. Виталий подвергся преследованиям и 6 декабря 1938 г. был даже временно почислен за штат.

С 22 марта 1939 г. по 24 декабря 1946 г. он является настоятелем церкви Рождества Пресвятой Богородицы д. Гудевичи Волковысского р-на Гродненской обл. Затем епископ Гродненский и Лидский Варсонофий (Гриневич) назначает его настоятелем Свято-Николаевской церкви г. Волковыска Гродненской обл. (с 25 декабря 1946 г.) и благочинным Волковысского и Порозовского р-нов (с 1 февраля 1947 г.).

Однако жернова и сита системы работали непрерывно и неумолимо: перемалывали и просеивали. Безусловный приоритет принадлежал людям, находившимся во время войны в оккупации. 25 апреля 1951 г. в Управлении МГБ по Гродненской обл. был рассмотрен материал «о преступной деятельности Железняковича Виталия Арсеньевича – священника Волковысской церкви». При этом было найдено, что он, «проживая на оккупированной немцами территории..., находился в близких отношениях с офицерами немецкой жандармерии, при богослужениях выступал с проповедями антисоветского характера. Летом 1944 г. пытался бежать со всей семьей, но, попав в окружение Красной Армии, он был вынужден вернуться в Гудевичи». Конечно же, нашлись тому и свидетели, кто бы мог сомневаться. Напомним читателям, что к этому моменту сын Дмитрий «сидел» уже более 5 лет.

26 апреля 1951 г. о. Виталий был арестован. После обыска в его квартире было изъято большое количество книг, журналов, газет, записных книжек, блокнотов, тетрадей, фотографий, различной переписки и даже...Библия. Было описано и имущество священника, среди которого значились корова черно-белой масти, швейная машинка «Зингер» и медный тульский самовар.

Начались долгие допросы. Своих убеждений о. Виталий не скрывал: «Как Февральскую, так и Октябрьскую революцию я, безусловно, принял не с восторгом, а со страхом за будущую судьбу России; мне казалось, что в результате Октябрьской революции, т.е. смены власти, Россия может погибнуть. К свержению царизма я отнесся с сожалением, ибо был воспитан в монархическом духе». И позднее: «Был убежден, что большевики – предатели судеб России».

За 5 месяцев нахождения под следствием священник подвергался невероятным духовным и физическим страданиям. На допросе в канун суда, чувствуя, что теряет сознание после пыток, он со вздохом сказал: «Давайте, все подпишу, хоть смертный приговор, уже нет больше сил».

26 сентября 1951 г. в Минске состоялся суд. Военный трибунал приговорил о. Виталия к 25 годам ИТЛ с последующим поражением в правах на пять лет и с конфискацией всего имущества (батюшкина корова черно-белой масти определено коммунистам приглянулась и как могла послужила делу строительства светлого будущего).

Срок он отбывал в Мариинских лагерях Кемеровской обл. Изнурительный рабский труд, голод и холод не прошли бесследно, о. Виталий нажил сердечную болезнь и грыжу в тяжелой форме. По этой причине решением Кемеровского облсуда его досрочно освободили 4 ноября 1954 г. – времена все же начали меняться (одновременно заметим, что сыну Дмитрию пришлось отсидеть сполна)... Так жизнь смогла превозмочь, отодвинуть смерть, ведь имя о. Виталия в переводе с латинского означает «жизненный».

По прибытии в Волковыск батюшку с радостью встретили родные и близкие. Прихожане прилагали все усилия, чтобы он остался здесь. Но по установленным

в то время правилам возвратившимся из мест заключения священникам служить на старом месте не позволялось. В конечном итоге 15 декабря 1954 г. он был назначен настоятелем Свято-Покровской церкви г. Опочка Велико-Лукской обл.

Позволим здесь небольшое отступление: не все люди, прошедшие лагеря, ожесточились там и озлобились, не все после выхода на волю забились в свои одинокие углы. Многие из них старались поддерживать связь, писали друг другу письма, обменивались новостями, поздравляли своих сотоварищей с праздниками, желали им здоровья и добра, надеялись на личные встречи, что иногда им и удавалось...

Передо мною – письма о.Виталия соратнику по Мариинским лагерям, проживавшему в Минске. Он постоянно обращается к своему адресату со словами: «Дорогой Сергей Сергеевич!», хотя тот на целых 18 лет моложе, искренне радуется его освобождению, полученным открыткам и письмам, ждет в гости, сообщает о долгожданном возвращении сына из Караганды.

На серьезно пошатнувшееся здоровье почти не жалуется: «Иногда пошаливает сердце. Напоминает о конце. О нем забывать нельзя, конечно». И еще характерная цитата: «Вспоминаю прошедшее без горечи, а иногда даже с удовольствием. Но все же, когда думаешь о возможном рецидиве, как-то содрогаешься» (это в конце 1956 г.!). Но в марте 1957 г. тон несколько меняется: «Благодарю всегда Господа за великие Его милости. Недавно получил чистый паспорт. Это тоже меня весьма радует».

А вот – из другого письма: «Я был очень удивлен, получив от Вас перевод. Дело-то ведь в том, что я, слава Богу, обеспечен и храм мой тоже. Есть у меня два собрата: один в Омске, другой – в Инте (Коми АССР). Я им послал эти деньги. А то, что я им лично должен послать, вышлю на месяц позже. Словом, вы меня поставили в затруднительное положение. Больше этого не делайте». А ведь сам еще недавно отсылал Сергею Сергеевичу деньги в лагерь и продолжает помогать другим знакомым сидельцам. Се – человек!

Узнав о женитьбе С.С., о. Виталий благословляет этот брак письменно(!), переписав полный текст молитвы из чинопоследования Венчания: «Отец, Сын и Святой Дух...», в другом письме не жалеет слов для поздравлений по случаю рождения дочери. Почти каждое послание завершается одинаково: «Будьте здоровы и Богом хранимы». Эти молитвенные пожелания сбылись: С.С. благополучно прожил долгую и интересную жизнь.

Столь красноречиво могут рассказать о человеке его письма...

Прихожане относились к о. Виталию с большим уважением. Он был чужд всякого накопительства. Видя бедность некоторых людей, не брал с них денег за требы, но еще и сам им помогал, по праздникам раздавал нуждающимся милостыню.

Проповеди его запоминались надолго, т.к. он отличался красноречием, казалось бы, простые слова о. Виталия находили в слушателях живой отклик.

Его внук – Виталий Дмитриевич вспоминал, как в начале 1970-х годов в Пасхальную ночь «во время крестного хода церковь заполнила атеистически настроенная молодежь, и многие верующие не смогли войти в храм. Отец Виталий спокойно обратился к молодежи: «Юноши, девушки! Мы же не мешаем вам на ваших вечерах, танцах. Почему же вы мешаете празднику своих родителей, бабушек,

дедушек?» Ни слова не говоря, спокойно, без шума, свиста молодые люди вышли из церкви, зашли люди пожилого возраста, и служба продолжилась».

Большое внимание о. Виталий уделял благоустройству церкви и кладбища, ухаживал за могилами священников, служил там панихиды.

Он много читал, в его библиотеке были в основном книги русских классиков. Телевизора у него не было, но над кроватью висели наушники, с помощью которых он прослушивал новости, литературные передачи, театральные постановки. Регулярно читал «Известия» и «Литературную газету».

Отец Виталий очень любил свою супругу – матушку Ксению Александровну Нещеретову, с которой венчался 30 июля 1922 г. После ее кончины (7 октября 1969 г.) на могиле постоянно горела лампада, он приходил туда в любую погоду и молился. Сын предлагал ему вернуться в Волковыск, «вдруг он заболит и ляжет». Отец Виталий ответил, что не заслужил у Бога того, чтобы долго лежать, и Он пошлет ему легкую смерть (что впоследствии и сбылось).

В конце августа 1971 г., на Успение, его пригласили на Гродненщину в связи с празднованием 500-летия Жировичской иконы Божией Матери. Тогда он посетил Волковыск, Жировичи, места службы, могилы родных. После этой поездки, видя, в каком состоянии находятся храмы (в д.Засулье в церкви был устроен склад, а от могил матери и брата возле нее почти ничего не уцелело), он оставил местным людям деньги, чтобы те перезахоронили останки родных на общем кладбище.

Вспоминает внук: «По возвращении в Опочку о.Виталий написал большое гневное письмо на имя Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. К огромному сожалению, копия этого огромного (листов 8-10) письма не сохранилась, но текст его он зачитывал моим родителям и многим людям. Мне запомнились отдельные фразы: «Кровь стынет в жилах! Варвары! Не вы строили, не вам и разрушать». Все письмо было пронизано мыслями об отношении советских властей к религии, храмам, о воспитании бездуховной молодежи. Указывал он, где и сколько церквей было уничтожено, говорил и про Опочку, где до революции было несколько церквей, а осталась лишь одна кладбищенская Покровская.

Реакция последовала незамедлительно. Отца Виталия вызвал к себе архиепископ Псковский и Порховский Иоанн, и у них состоялся примерно такой разговор.

– Отец Виталий! Вы забыли, где провели какое-то время в 50-е годы? Вам не живется спокойно?

– Владыка! Я жизнь свою прожил и не о чем не жалею, мне бояться нечего. А то, что я перенес муки и страдания, то это самая малость тех мук, что перенес Иисус Христос.

Больше о. Виталия по этому поводу никто не трогал». А к 50-летию служения в священническом сане 26 июля 1972 г. Патриарх Пимен наградил его орденом св. равноапостольного князя Владимира.

Далее – из тех же воспоминаний внука: «Запомнилось мне и то, что несмотря на гонения на религию, тяжелые времена для всего Православия, о. Виталий мог предугадать дальнейшее развитие событий и оказался в какой-то степени пророком. Он говорил, что наступит время, когда будут восстанавливать храмы, строиться новые церкви и соборы, люди будут ходить с процессиями, хоругвями

и иконами по улицам городов, будут открыты воскресные школы, новые духовные семинарии, потому что дальше падать уже некуда...».

И далее: «О том, что о. Виталий многое предчувствовал, говорит и такой пример. Когда мы с мамой в августе 1972 г. уезжали после юбилея из Опочки, на автостанции лицо дедушки было грустное-грустное. Мама спросила, что с ним, и в ответ услышала, что мы больше не увидимся. Так и случилось».

В конце сентября о. Виталий съездил в Барановичи и Вильнюс, а по возвращении в Опочку стал готовиться к престольному празднику Покрова. Ожидался, вроде бы, приезд владыки Иоанна. Но в воскресенье после службы он подошел к свечнице Настасье Ивановне Крыловой и спросил: «Вы помните, кому надо дать телеграммы о моей смерти?»

– Отец Виталий, что Вы говорите?!

– Я сегодня служил последнюю службу, и во время службы мне было сказано свыше, что это моя последняя служба».

Вечером 3 октября 1972 г. у о. Виталия произошло ущемление грыжи, вызвали «скорую». Доставили в больницу, где хотели поднять на второй этаж на носилках, но он отказался («я никого не хочу обременять») и, превозмогая боль, понялся сам. Оперировал его хирург Стрелков. От наркоза о. Виталий не проснулся: сдало сердце. Умер о. Виталий рано утром 4 октября, а хоронили его 7 октября: в день смерти бабушки Ксении ровно через три года».

Так завершилась его земная жизнь. Реабилитирован он был 8 октября 1992 г. Гродненским облсудом.

«Дней лет наших – семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят лет; и самая лучшая пора их – труд и болезнь» (Пс.89.10). А тюрьмы, а лагеря?

Но «претерпевший до конца спасется» (Мф.10.22).

\*

В данной работе были использованы «Синодик...» о.Феодора Кривоноса; известный двухтомник Леонида Морякова; книга В.Н. Черепицы «Очерки истории Православной Церкви на Гродненщине (с древнейших времен до наших дней)». Ч. I, Гродно, 2000; статья А.В. Кондратени «Покровский храм г. Опочки (время, история, люди)» – см. журнал «Псков», №32, 2010, с.144-162; а также письма из личного архива автора.